



ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ,
ПОСЛЕДНЕЕ ПОМАЗАНИЕ

В ПЕРЕВОДЕ ВАСИЛИЯ АРКАНОВА
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ

**ИЭН
МАКЬЮЭН**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧИТАЕТ ВСЬ МИР

Annotation

Его первая книга, предлагаемая вашему вниманию, получила премию Сомерсета Моэма за лучший дебют.

В своих ранних рассказах автор демонстрирует широкий спектр стилистических экспериментов «Это была для меня своего рода лаборатория, — говорил он в интервью, — способ опробовать различные регистры, найти себя как писателя» В макьюэновской лаборатории правнук выдающегося математика-любителя XIX века повторяет прадедовы опыты в области стереометрии человеческих тел, подростки устраивают мужское троеборье (курение — выпивка — женщины), а жертва тяжелого детства дает интервью не вылезая из шкафа. Три рассказа из этого сборника были экранизированы — заглавный, «Стереометрия» и «Бабочки» (дважды).

Впервые на русском — причем в исполнении Василия Арканова, которому мы обязаны блистательными переводами романов Джонатана Сафрана Фоера «Полная иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко».

Впервые на русском.

-
- [Иэн Макьюэн](#)
 - [Стереометрия](#)
 - [По-домашнему](#)
 - [Последний день лета](#)
 - [Факер в театре](#)
 - [Бабочки](#)
 - [Разговор с человеком из шкафа](#)
 - [Первая любовь, последнее помазание](#)
 - [Обличья](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
-

Иэн Макьюэн

Первая любовь, последнее помазание

Стереометрия

В Мелтон-Моубрее в 1875 году на аукционе предметов «любопытных и ценных» мой прадед в присутствии своего друга М. назначил цену за пенис капитана Николса, умершего в тюрьме Хорсмонгер в 1873 году. Он содержался в стеклянной колбе длиной в тридцать сантиметров и, по замечанию прадеда, оставленному той ночью в дневнике, находился в «состоянии изумительной сохранности». На аукционе также продавалась «неназванная часть покойной леди Барримор. Она отошла к Сэму Израэлсу за пятьдесят гиней». Поначалу прадед намеревался приобрести оба предмета, но его отговорил М. Это лучше всего характеризует их дружбу. Дед — увлекающийся теоретик, М — практик, знавший, как побеждать на торгах. Прадед прожил шестьдесят девять лет. Сорок пять из них на исходе каждого дня перед отходом ко сну он садился и записывал свои соображения в дневник. Его дневники теперь на моем столе, сорок пять томов в переплетах из телячьей кожи, а слева от них стоит капитан Николс в стеклянной колбе. Мой прадед жил с прибыли, приносимой патентом на изобретение его отца — удобной застёжки, которой пользовались все изготовители корсетов вплоть до начала Первой мировой войны. Прадед любил сплетни, числа и гипотезы. Он также любил табак, хороший портвейн, тушеного в горшочке кролика и изредка опиум. Он считал себя математиком, хотя никогда нигде не служил и не издал ни одного научного труда. Он также ни разу не путешествовал и не удостоился упоминанием в «Таймс» даже в связи со своей кончиной. В 1869 году он женился на Элис, единственной дочери преподобного Тоби Шедвела, соавтора не слишком уважаемого изыскания об английских диких цветах. По моему глубокому убеждению, истинным призванием прадеда было ведение дневников, и, когда я закончу их редактировать и опубликую, уверен, что он получит запоздалое признание. Закончив работу, я собираюсь взять долгий отпуск, уехать куда-нибудь, где холодно, чисто и голо, — в Исландию или русскую степь. Еще я думал, что под конец попробую, если удастся, развестись со своей женой Мейси, но теперь в этом нет необходимости.

Бывало, Мейси часто вскрикивала во сне, и мне приходилось ее будить.

— Обними меня, — обычно говорила она. — Какой ужасный сон мне приснился. Уже не первый раз. Я лечу в самолете над пустыней. Только не над обычной пустыней. Снижаюсь и вижу, что она завалена грудями новорожденных младенцев, повсюду, насколько хватает глаз, и все — голенькие, копошащиеся. В самолете топливо на исходе, и надо куда-то сесть. Я ищу место, лечу и лечу, не могу найти свободного...

— Теперь спи, — говорил я, зевая. — Это всего лишь сон.

— Нет. — И она начинала плакать. — Мне не время спать, еще не время.

— А мне самое время, — говорил я. — Завтра ранний подъем.

Она трясла меня за плечо:

— Ну, пожалуйста, подожди засыпать, не оставляй меня.

— Мы в одной постели, — говорил я. — Я тебя не оставлю.

— Какая разница, не оставляй меня, пока я не засну...

Но мои глаза уже слипались.

В последнее время я перенял прадедушкину привычку. Перед отходом ко сну присаживаюсь на полчаса обдумать прошедший день. У меня нет математических разработок или сексуальных теорий, достойных упоминания. В основном я записываю, что Мейси сказала мне и что я сказал Мейси. Иногда для пущей концентрации запираюсь в ванной, сажусь на унитаз и пристраиваю блокнот на коленях. Помимо меня ванную облюбовала пара пауков. Они ползут вверх по водосточной трубе и замирают, съежившись, на ослепительно белом кафеле. Должно быть, гадают, куда это их занесло. После нескольких часов ожидания уползают, озадаченные, а возможно, и разочарованные, что так и не смогли ничего понять. Насколько можно судить, у прадеда встречается лишь одно упоминание о пауках. 8 мая 1906 года есть запись: «Бисмарк — паук».

По вечерам Мейси обычно приносила мне чай и пересказывала свои ночные кошмары. Я как раз просматривал старые газеты, каталогизировал, составлял перечни, откладывал один томик, брал другой. Мейси говорила, что неважно себя чувствует. С недавних пор она перестала выходить из дома, то и дело листая книги по психологии и оккультизму, — кошмары мучили ее почти каждую ночь. После нашего обмена ударами, когда мы подстерегли друг друга у дверей

ванной, чтобы отлупцевать одним и тем же ботинком, я перестал ей сочувствовать. Отчасти виной всему — была ревность. Она очень приревновала меня... к сорокапятитомному прадедушкиному дневнику, к той решимости и энергии, с которыми я его редактировал. Ей нечем было себя занять. Я откладывал один томик и брал другой, когда Мейси явилась со своим чаем.

— Можно я расскажу, что мне приснилось? — спросила она. — Я лечу в самолете над пустыней. Только не над обычной пустыней...

— Давай потом, Мейси, — сказал я. — Мне сейчас некогда.

После ее ухода я долго смотрел на стену перед моим рабочим столом и думал про М., который регулярно навещался к прадеду поболтать и пообедать на протяжении пятнадцати лет вплоть до своего необъяснимого исчезновения в один из вечеров 1898 года. М., кто бы под этим инициалом ни скрывался, был в некотором роде ученый, помимо того что практик. Например, вечером 9 августа 1870 года эти двое обсуждают различные позы для занятий любовью, и М. сообщает моему прадеду, что совокупление *a posteriori* — наиболее естественный способ, обусловленный положением клитора и поскольку другие антропоиды отдают предпочтение этому методу. Прадеда, испытавшего физическую близость от силы полдюжины раз в жизни и исключительно с Элис в первый год после свадьбы, интересовали взгляды церкви на этот вопрос, и М. незамедлительно отвечает, что еще в седьмом веке теолог Теодор полагал совокупление *a posteriori* грехом, равным по тяжести рукоблудию и потому требующим наложения сорока епитимий. В тот же вечер, но позже прадед представил математическое доказательство того, что максимальное число любовных позиций не может превысить простое число семнадцать. М. поднял его на смех, утверждая, что видел собрание карандашных рисунков Романо, ученика Рафаэля, с изображением двадцати четырех. Не говоря уж о том, что слышал о некоем господине Ф. К. Форберге, который насчитал все девяносто. Когда я вспомнил про чай, оставленный Мейси возле моего локтя, он был уже совсем холодным.

В новый этап заметного ухудшения супружеских отношений мы вступили следующим образом. Однажды вечером я сидел в ванной, записывая наш с Мейси разговор о картах Таро, как вдруг она напомнила о себе снаружи, стуча в дверь и теребя дверную ручку.

— Открой, — попросила она. — Мне надо войти.

Я сказал:

— Тебе осталось потерпеть совсем немного. Я почти закончил.

— Впусти сейчас же! — закричала она. — Ты все равно не пользуешься туалетом.

— Подожди, — ответил я и записал еще строчку-другую.

Теперь Мейси колошматила в дверь изо всех сил.

— У меня начались месячные, и мне надо кое — что взять.

Я не реагировал на ее вопли и довел запись до конца, что было абсолютно необходимо. Оставь ее на потом — и некоторые детали будут утеряны. Мейси совершенно затихла, и я заключил, что она удалилась в спальню. Однако стоило открыть дверь, как она преградила мне путь с ботинком в руке. Ботинок опустился на мою голову так стремительно, что я даже толком не успел уклониться. Край каблука чиркнул по уху, раскроив его.

— Так-то, — сказала Мейси, огибая меня, чтобы войти в ванную. — Теперь мы оба истекаем кровью.

И она с грохотом захлопнула дверь. Я подобрал ботинок и стал ждать тихо и терпеливо у входа в ванную, прижимая к кровоточащему уху носовой платок. Мейси пробыла там минут десять, а когда вышла, я аккуратно и четко саданул ей тем же каблуком в самый центр макушки. У нее не было шанса уклониться. Она замерла на миг, глядя мне прямо в глаза.

— Гаденыш, — выдохнула она и устремилась на кухню нянчиться со своей головой подальше от моих глаз.

Вчера за ужином Мейси заявила, что человеку, запертому в одиночной камере с картами Таро, открыт доступ к любым познаниям. Незадолго до этого она гадала, и карты были разбросаны по всему полу.

— Сумеет ли он узнать схему улиц Вальпараисо из своих карт? — спросил я.

— Не прикидывайся дурачком, — ответила она.

— Подскажут ли они ему, как легче всего открыть прачечную, или приготовить омлет, или собрать аппарат искусственной почки?

— До чего же ты скудоумный, — посетовала она. — Такой недалекий, такой предсказуемый.

— Сможет ли он, — настаивал я, — сказать мне, кто такой М. и почему...

— Все эти вещи не имеют значения! — закричала она. — Они не важны.

— Но это тоже познания. Разве у него будет к ним доступ?

Она задумалась.

— Да, будет.

Я улыбнулся и промолчал.

— Что тут смешного? — сказала она.

Я пожал плечами, а она начала злиться. Ей хотелось продолжать спор.

— Зачем ты задавал все эти бессмысленные вопросы?

Я снова пожал плечами:

— Просто хотел уточнить, что ты имела в виду, говоря о *любых* познаниях.

Мейси стукнула кулаком по столу и завопила:

— Будь ты проклят! Почему ты все время меня подлавливаешь? Почему никогда не принимаешь всерьез?

И здесь мы оба поняли, что уткнулись в тупик, который был конечным пунктом всех наших разговоров, и воцарилось обиженное молчание.

Работа над дневниками не может продолжаться, покуда мне не удастся раскрыть тайну, окутывающую М. На протяжении пятнадцати лет он то и дело является к обеду, щедро снабжая моего прадеда сведениями для его гипотез, а затем просто исчезает со страниц дневника. Во вторник, 6 декабря, прадед пригласил М. отобедать в будущую субботу, и, хотя М. пришел, в записях того дня прадед просто отмечает: «М. к обеду». Во все остальные дни их беседы за трапезой воспроизводятся подробнейшим образом. М. обедал и в понедельник, 5 декабря, и разговор тогда шел о геометрии. Все последующие записи до конца недели посвящены этому предмету. Нет и намека на враждебность. К тому же прадед *нуждайся* в М. М. снабжал его сведениями, был в курсе дел, он прекрасно знал Лондон и не раз наведывался в Европу. Он глубоко разбирался в социализме и Дарвине, был знаком с одним из участников движения «Свободной любви», приятелем Джеймса Хинтона^[1]. М. был человеком света в том смысле, в каком прадед, лишь однажды решившийся покинуть пределы Мелтон

— Моубрея для путешествия в Ноттингем, таковым не был. Даже в юности прадед предпочитал строить свои гипотезы, не отходя от камина; ему вполне хватало сведений, которыми снабжал его М. Например, как-то вечером в июне 1884 года М., полный свежих впечатлений от Лондона, нарисовал прадеду картину того, как улицы города загажены и буквально устланы конским дерьмом. На той же неделе прадеду случилось читать трактат Мальтуса^[2] под названием «Опыт о законе народонаселения». В тот вечер он сделал в дневнике взволнованную запись о статье, которую задумал написать и издать. Она должна была называться «De Stercore Equorum». Статья так и не увидела свет, а возможно, даже не была написана, но подробные наброски к ней встречаются в дневниковых записях на протяжении двух недель после того вечера. В «De Stercore Equorum» («К вопросу о конском дерьме») он исходит из того, что численность лошадей будет расти в геометрической прогрессии, и, соотнося это с подробным планом города, предсказывает столице полнейшую непроходимость к 1935 году. «Непроходимыми» он предлагает считать улицы, на которых средняя толщина экскрементального покрова составляет тридцать (утрамбованных) сантиметров. Он описывает опыты, проведенные вблизи его личных конюшен для определения степени трамбуемости конского дерьма, которую он сумел выразить математически. Все это, конечно же, чисто гипотетически. Полученные им результаты базировались на допущении, что в предстоящие пятьдесят лет дерьмо с улиц вообще убираться не будет. Вполне вероятно, что именно М. отговорил прадеда от этой затеи.

Как-то утром после долгой и мрачной ночи Мейсиных кошмаров мы лежали в постели рядом, и я сказал:

— Чего же ты все-таки хочешь? Что тебе мешает вернуться на работу? Все эти долгие прогулки, психоанализ, шатание по дому, нежелание вылезать из постели по утрам, карты Таро, кошмары... Чего ты хочешь?

И она сказала:

— Хочу навести порядок в своей голове, — фразу, которую я неоднократно от нее слышал.

— Голова, мозг — это тебе не гостиница, знаешь ли, — сказал я. — Барахло оттуда не выкинешь, как старую консервную банку. Если

уж на то пошло, то это, скорее, река, а не место — движется, изменяется. Реку не упорядочишь.

— Опять ты со своими штучками, — сказала она. — Я же не собираюсь упорядочивать реки. Только навести порядок в своей голове.

— Займись уже чем-нибудь, — сказал я. — Сколько можно бездельничать. Почему не пойти опять на работу? Тебя не мучили кошмары, пока ты работала. Ты никогда не была так подавлена, пока работала.

— Мне необходим перерыв, — сказала она. — Я больше не понимаю, что все это значит.

— Мода, — сказал я. — Это все из-за моды. Модные метафоры, модное чтение, модные недуги. Ну, какое тебе дело до Юнга, например? Ты прочла двенадцать страниц за месяц.

— Остановись, — взмолилась она. — Ты знаешь, куда это заводит. Но я продолжил.

— Нигде не бывала, — обличал я, — ничем стоящим не занималась. Пай-девочка, обделенная даже таким подарком судьбы, как несчастное детство. Эти твои сентиментальный буддизм, доморощенный мистицизм, ароматерапия, журнальная астрология... все это заемное, ты ни к чему не пришла сама. Купилась, угодила в болото авторитетных домыслов. А у самой нет ни внутренней независимости, ни азарта хотя бы на уровне интуиции постигнуть что-нибудь, кроме собственного несчастья. Зачем захламлять мозг банальной мистикой других, особенно если у тебя из-за нее кошмары?

Я встал с постели, распахнул шторы и начал одеваться.

— Ты говоришь как на литературном семинаре, — сказала Мейси. — Почему ты всегда стараешься меня уязвить?

Жалость к себе готова была забить из нее фонтаном, но она сдержала напор.

— Когда ты говоришь, — продолжала она, — я начинаю чувствовать себя листом бумаги, который сворачивают в трубочку.

— Возможно, это и есть литературный семинар, — безжалостно подытожил я.

Мейси уселась в постели, глядя на свои колени. Внезапно ее тон изменился. Она похлопала рукой по подушке рядом с собой и сказала вкрадчиво:

— Подойди ко мне. Сядь сюда. Я хочу тебя обнять, хочу, чтобы ты меня обнял...

Я демонстративно вздохнул и отправился на кухню.

В кухне я сварил кофе и отнес его в кабинет. Той ночью во время одного из бесчисленных пробуждений мне пришло в голову, что возможная разгадка исчезновения М. кроется на страницах, посвященных геометрии. Раньше я всегда их пропускал за отсутствием интереса к математике. В понедельник, 5 декабря 1898 года, М. с прадедом обсуждали *vescia piscis* [3], который, по всей видимости, послужил поводом для первой теоремы Евклида и оказал значительное влияние на разработку планов строительства многих древних религиозных сооружений. Я внимательно прочитал запись беседы, стараясь в меру своих способностей вникнуть в суть геометрии. Затем, перевернув страницу, обнаружил пространную историю, которую М. рассказал прадеду в тот же вечер, когда подали кофе и раскурили сигары. Едва я начал читать, как вошла Мейси.

— Ну а сам-то, — сказала она, продолжая разговор, оборванный больше часа назад. — Сидишь со своими книгами. Ползаешь по прошлому, как навозная муха.

Я, конечно, рассердился, но не подал виду и сказал с улыбкой:

— Ползаю? Что ж, я-то, по крайней мере, двигаюсь.

— Ты больше со мной не разговариваешь, — сказала она. — Играешь на мне, как в пинбол, на очки.

— Доброе утро, Гамлет, — ответил я и выпрямился в кресле, терпеливо ожидая ее следующей реплики.

Но реплики не последовало, она ушла, аккуратно притворив за собой дверь.

— В сентябре тысяча восемьсот семидесятого года, — начал свой рассказ М., — в моем распоряжении оказались некие документы, которые не только перечеркивают все принципы, лежащие в основе нашего представления о стереометрии, но также сводят на нет полный свод физических законов, заставляя задуматься о пересмотре бытующих представлений о месте человека в природной иерархии. Эти бумаги превосходят по важности труды Маркса и Дарвина, вместе взятых. Они были вверены мне молодым американским математиком, и в них содержатся выкладки Дэвида Хангера, тоже математика и шотландца. Фамилия американца — Гудман. На протяжении ряда лет я состоял в

переписке с его отцом касательно его работ по теории цикличности менструации, каковая теория, что удивительно, все еще сплошь и рядом ставится под сомнение в этой стране. С младшим Гудманом я познакомился в Вене, где наряду с Хантером и другими математиками из дюжины разных стран он участвовал в математической конференции. В день нашего знакомства Гудман был бледен и чем-то крайне взволнован и намеревался отбыть в Америку на другой день, хотя конференция еще и наполовину не завершилась. Он передал бумаги на мое попечение с условием, что я возвращу их Дэвиду Хантеру, если когда-либо узнаю о его местонахождении. И затем, лишь после долгих уговоров и настояний с моей стороны, поведал о том, чему стал свидетелем на третий день конференции. Заседания начинались ежедневно в девять тридцать утра с доклада и следовавшей за ним дискуссии. В одиннадцать подавали закуски и напитки, и многие математики вставали из-за длинного, отполированного до блеска стола, за которым они заседали, и прогуливались по большой изящной гостиной, непринужденно беседуя с коллегами. Продолжалась конференция две недели, и по давно заведенной традиции первыми с докладами выступали наиболее маститые математики, за ними шли менее маститые, и так далее в обратной последовательности на протяжении двух недель, что время от времени вызывало, как это нередко случается в среде высоко образованных мужей, приступы жгучей ревности. Хантер, несмотря на свои выдающиеся математические способности, был молод и практически неизвестен за пределами своего университета (Эдинбургского). Он подал заявку на доклад по стереометрии — исключительно важный, по её словам, но, не имея никакого веса в этом прославленном пантеоне, получил право прочесть его в предпоследний день, когда многие из наиболее влиятельных участников конкуренции уже разъехались бы по своим странам. Полому утром третьего дня, едва появилась прислуга с закусками и напитками, Хантер резко встал и обратился к коллегам, которые еще только начинали подниматься со своих мест. Он был крупный, заросший густыми космами и, несмотря на молодость, обладал очевидным даром обращать на себя внимание, отчего возникший было гул голосов стих и воцарилась полная тишина.

— Господа, — сказал Хантер, — прошу простить мою непозволительную дерзость, но я должен сообщить вам кое-что чрезвычайно важное. Я открыл плоскость, лишенную поверхности.

Не обращая внимания на насмешливые взгляды и удивленные сдержанные смешки, Хантер взял со стола большой лист белой бумаги. Карманным ножом он сделал надрез на его поверхности длиной сантиметров в семь, чуть в стороне от центра. Затем особым диковинным образом молниеносно его сложил и, держа лист над столом, чтобы все видели, стал продевать один из его концов в разрез, в процессе чего лист исчез.

— Смотрите, господа, — сказал Хантер, демонстрируя собравшимся пустые ладони. — Плоскость, лишенная поверхности.

В комнату вошла Мейси, умытая и нежно пахнущая душистым мылом. Вошла и встала у меня за спиной, положив руки мне на плечи.

— Что ты читаешь? — спросила она.

— Пропущенные отрывки из дневника.

Она принялась слегка массировать основание моей шеи. В первый год после замужества это доставляло мне удовольствие. Но теперь шел шестой, и я не ощутил ничего, кроме растущего напряжения, спускавшегося вниз по позвоночнику. Мейси чего-то добивалась. Чтобы это пресечь, я положил свою правую руку на ее левую, но она приняла это за ласку и, нагнувшись, поцеловала меня за ухом. От нее пахло зубной пастой и гренками. Она потянула меня за плечо.

— Пойдем в спальню, — зашептала она. — У нас уже почти две недели не было близости.

— Знаю, — ответил я, — Ты должна понять: это все из-за работы.

Ни Мейси, ни любая другая женщина не пробуждали во мне никаких эмоций. Единственное, чего я хотел, — это перевернуть очередную страницу прадедушкиного дневника. Мейси убрала руки с моих плеч и теперь просто стояла рядом. Ее молчание вдруг сделалось настолько угрожающим, что я весь напрягся, точно спринтер на старте. Она потянулась вперед и взяла запечатанную колбу с капитаном Николсом. Его пенис задумчиво проплыл из одного конца склянки в другой.

— Какой же ты СЕБЯЛЮБ! — провопила Мейси за мгновение до того, как запустить стеклянную колбу в стену перед моим столом.

Я инстинктивно закрыл лицо руками, защищаясь от осколков. А когда снова открыл глаза, услышал себя, точно издавека, говорящим:

— Зачем ты это сделала?! Прадедушкина вещь...

Среди осколков и усиливающихся испарений формалиновой вони лежал капитан Николс, распластавшись на кожаной обложке одного из дневников, серый, обмякший и омерзительный, преобразившийся из антикварной диковины в дикуую непристойность.

— Ты совершила ужасный поступок. Зачем ты это сделала? — снова спросил я.

— Пойду прогуляюсь, — ответила Мейси и на этот раз громко хлопнула дверью, выходя из комнаты.

Я долго не мог подняться с кресла. Мейси уничтожила необычайно дорогой для меня предмет. Пока прадед был жив, он стоял в его кабинете, а потом стоял в моем, связывая наши жизни. Я собрал с колен осколки стекла и долго смотрел на 160-летнюю часть тела чужого человека на своем столе. Смотрел и думал о тех бесчисленных гомункулах, что некогда копошились в его недрах. Я представил себе места, в которых он побывал — Кейптаун, Бостон, Иерусалим, — и как ему приходилось путешествовать во тьме вонючих капитанских подштанников, лишь изредка выныривая на свет божий для мочеиспускания в какой-нибудь затхлой общественной уборной. Я представил себе вещи, которых он мог касаться, все эти молекулы, оставшиеся на нем от блудливых капитанских рук в одинокие, лишенные женских ласк ночи далеких плаваний или от потных стенок влагилиц юных дев и старых шлюх (их молекулы, должно быть, живы и по сей день — мелкая пыль, гонимая ветром от Чипсайда^[4] до Лестершира^[5]). Кто знает, как долго он мог бы еще просуществовать в своей стеклянной темнице. Я начал прибираться. Принес из кухни мусорное ведро. Смел и подобрал все осколки, какие сумел найти, вытер тряпкой формалин. Затем, подцепив член пальцами за один конец, попробовал перетащить капитана Николса на газету. Меня чуть не стошнило от вида натянувшейся крайней плоти. Наконец, с закрытыми глазами, я справился и, многократно свернув газету, вынес капитана в сад и похоронил под геранями. Все это время я изо всех сил гнал от себя мысль о том, как отомстить Мейси. Мне не терпелось узнать продолжение истории М. Снова усевшись в кресло, я

промокнул несколько капель формалина, размывших чернила, и вновь углубился в чтение.

Почти минуту присутствовавшие пребывали в оцепенении, которое, казалось, усиливалось с каждой последующей секундой. Первым решился заговорить профессор Стенли Роз из Кембриджского университета — плоскость, лишенная поверхности, могла стоить ему репутации (весьма значительной, надо сказать, зиждившейся на его «Началах стереометрии»).

— Как вы смеее, сэръ. Как вы смеее оскорблять сие благородное собрание своим дешевым трюкачеством.

И, уловив шепоток одобрения, прокатившийся у него за спиной, прибавил:

— Стыдно, молодой человек, очень и очень стыдно.

Вслед за тем зал зарокотал подобно вулкану. За вычетом младшего Гудмана и прислуги, застывшей подле внесенных закусок и напитков, все накинулись на Хантера со сбивчивыми тирадами осуждений, проклятий и угроз. Одни в ярости били кулаками по столу, другие потрясали ими над головой. Некогого господина из Германии (весьма болезненного вида) хватил апоплексический удар, и его подняли с пола и усадили на стул. А Хантер стоял как скала, игнорируя нападки, слегка склонив голову в сторону, касаясь пальцами поверхности длинного полированного стола. То, что столь бурный протест был спровоцирован якобы дешевым трюкачеством, служило лучшим доказательством степени обеспокоенности собравшихся, и Хантеру это, безусловно, импонировало. Подняв руку и дождавшись вмиг наступившей тишины, он сказал:

— Господа, ваши сомнения объяснимы, и сейчас я приведу еще одно доказательство — на этот раз неопровержимое.

С этими словами он сел и снял ботинки, затем встал и снял пиджак, после чего объявил, что нуждается в ассистенте, и в этот момент к нему подошел Гудман. Рассекая толпу, Хантер широким шагом прошествовал к дивану, стоявшему вдоль одной из стен, и, пока укладывался, попросил озадаченного Гудмана, чтобы тот, возвращаясь в Англию, захватил с собой его бумаги и сохранил их до тех пор, пока Хантер за ними не явится. Когда математики окружили диван, Хантер перевернулся на живот и соединил руки за спиной так, что получилось подобие обруча. Попросив Гудмана держать ему руки в таком

положении, он перекатился на бок и с помощью нескольких энергичных рывков умудрился пропустить через обруч одну ногу. Далее он попросил ассистента перевернуть его на другой бок, где произвел еще несколько рывков, позволивших ему пропустить между рук и вторую ногу, в то время как его туловище сложилось настолько, что голова также оказалась нацеленной внутрь обруча, но в противоположном ногам направлении. При помощи ассистента он стал медленно пропускать через обруч одновременно ноги и голову. Тогда-то светила науки и издали хором короткий сдавленный звук, не желая верить тому, что видели. Хантер медленно исчезал, а теперь, когда его ноги и голова проходили сквозь руки со все возрастающей легкостью, точно повинаясь некой невидимой силе, исчез почти вовсе. Еще миг... И его больше не было, совсем не было, ничего не осталось.

Рассказ М. привел моего прадеда в состояние лихорадочного возбуждения. Той ночью он записывает в дневнике, как настоятельно уговаривал гостя незамедлительно послать за бумагами, невзирая на второй час утра. М. же относился к этой истории с известной долей скептицизма. «Американцы, — заявил он прадеду, — имеют склонность к подобного рода фантастическим бредням». Тем не менее он согласился принести бумаги на другой день. Но так случилось, что на завтра М. куда-то спешил и не остался обедать, а только занес бумаги ближе к вечеру. Перед уходом он известил прадеда, что не раз их просматривал и что «смысла там нет ровным счетом никакого». Он и представить не мог, до какой степени недооценивает математический дар прадеда. За стаканчиком хереса у камина в гостиной друзья договорились отобедать вместе в конце недели, в субботу. На протяжении последующих трех дней мой прадед позволяет себе оторваться от изучения хантеровских теорем лишь на еду и сон. Все остальные темы из дневника пропадают. Страницы испещрены расчетами, диаграммами и символами. Складывается впечатление, что Хантеру понадобилось изобрести новый набор символов, практически новый язык для выражения своих идей. На исходе второго дня мой прадед приходит к первому ключевому выводу. Внизу страницы под длинным столбцом математических выкладок он записывает: «Многомерность — функция сознания». Обратившись к заметкам следующего дня, я прочитал: «...исчез у меня в руках». Он заново открыл пространство, лишённое поверхности. И вот со страниц на

меня смотрели подробнейшие инструкции о том, как надо складывать лист. Читая дальше, я вдруг догадался о причине внезапного исчезновения М. Нет сомнений, что в тот вечер, поддавшись на уговоры прадеда, он принял участие в научном эксперименте, к которому, скорее всего, продолжал относиться крайне скептически. Ибо на следующих страницах прадед сделал ряд небольших набросков, похожих на позы йоги. Совершенно ясно, что в них-то и заключалась разгадка исчезновения Хантера.

Дрожащими руками я освободил место на своем рабочем столе. Взял чистый лист машинописной бумаги и положил перед собой. Принес из ванной бритвенное лезвие. Нашел в выдвижном ящике старенький циркуль, заточил грифель и вставил в него. Перерыв весь дом, отыскал свою любимую стальную линейку, которой однажды пользовался для уплотнения щелей в оконных рамах, — теперь все было готово. Первым делом следовало обрезать бумагу до нужного размера. Лист, который Хантер так небрежно взял со стола, был, несомненно, подготовлен им заранее. Длина сторон должна отражать определенную пропорцию. С помощью циркуля я нашел центр листа и через эту точку провел линию, параллельную одной из сторон, вплоть до нижней границы. Затем мне надлежало начертить прямоугольник, размеры которого находились в определенном соотношении с длинами сторон листа. Центр прямоугольника должен был оказаться на вышеупомянутой линии, разделив ее в пропорции золотого сечения. Из вершин прямоугольника я прочертил пересекающиеся дуги (опять же в строгом соответствии с заданными параметрами). Операция была повторена из нижних углов прямоугольника, и, соединив две точки пересечения, я получил линию надреза. Затем я взялся за линии сгибов. Казалось, что их длина, угол наклона и точки пересечения с другими линиями выражают некую загадочную внутреннюю гармонию цифр. Рисуя пересекающиеся окружности, прочерчивая линии и производя сгибы, я догадывался, что вслепую оперирую системой высших, устрашающих знаний — математикой Абсолюта. К моменту, когда я завершил последний сгиб, мой лист приобрел форму геометрического цветка с тремя концентрическими лепестками вокруг надреза. В этой конструкции было нечто настолько идиллическое и совершенное, настолько недостижимое и привлекательное, что, вглядываясь в нее, я ощутил, как погружаюсь в состояние легкого

транса, как просветляется и отключается мозг. Я встряхнул головой и отвел взгляд. Настала пора выворачивать цветок наизнанку, протягивать его сквозь надрез. Операция требовала точности, а у меня снова дрожали руки. Но достаточно было вновь посмотреть на мою конструкцию, как я сразу же успокоился. Большими пальцами я начал подталкивать лепестки бумажного цветка к центру и почувствовал онемение в затылке. Я еще подтолкнул — на мгновение бумага стала прозрачнее, а затем вроде и вовсе исчезла. Я говорю «вроде», ибо в тот момент не был уверен, чувствую ли ее у себя в руках, несмотря на то что не вижу, или вижу, несмотря на то что не чувствую, или чувствую, что она исчезла по сути, но сохранилась во плоти. Онемение распространилось уже по всей голове и на плечи. Казалось, мои чувства были неспособны в полной мере воспринять происходящее. «Многомерность — функция сознания», — подумал я. Соединив руки, я убедился, что между ними ничего нет, но даже вновь разведя их, не мог с уверенностью сказать, действительно ли цветок исчез. Остался бесплотный оттиск, зрительное ощущение, причем не на сетчатке глаза, а непосредственно в мозгу. И тут за моей спиной открылась дверь, и Мейси сказала:

— Чем это ты занимаешься?

Точно из сна, я возвратился в комнату к почти выветрившемуся запаху формалина. Расправа с капитаном Николсом теперь казалась чем-то бесконечно далеким, но запах возродил негодование, стремительно вытеснявшее онемение. Мейси стояла, привалившись к косяку в проеме двери, закутанная в теплое пальто и шерстяной шарф, совсем чужая. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы негодование перешло в знакомое тупое раздражение — синдром усталости от нашей совместной жизни. Я подумал: зачем она разбила колбу? От желания физической близости? Потому что хотела пенис? Или, приревновав к дневникам, решила уничтожить символ, связывавший их с моим прадедом?

— Зачем ты это сделала? — произвольно вырвалось у меня.

Мейси хмыкнула. Открывая дверь, она увидела, как я сижу, склонившись над столом, и смотрю на руки.

— Ты так и просидел тут весь день? — спросила она. — Никак не забудешь его? — Она захихикала. — Куда он делся-то? Ты ему отсосал?

— Я его похоронил, — сказал я. — Под геранями.

Она сделала несколько шагов в мою сторону и сказала без тени иронии:

— Ну, не права я, знаю, что не права. Сама не понимаю, как получилось. Ты меня прощаешь?

Я медлил с ответом, пока мое раздражение не сменилось внезапным озарением, и тогда сказал:

— Конечно прощаю. Тоже мне: какой-то маринованный член.

И мы оба засмеялись. Мейси подошла еще ближе и поцеловала меня в губы, и я ответил на ее поцелуй, протиснув язык ей в рот.

— Ты голодный? — спросила она, когда мы вдоволь нацеловались. — Ужин приготовить?

— Да, — сказал я. — Я бы не отказался.

Мейси чмокнула меня в макушку и вышла из комнаты, а я вернулся к своим занятиям, решив, что в этот вечер буду с ней особенно нежен.

Позднее мы сидели на кухне за приготовленной Мейси едой, чуть хмельные от распитой бутылки вина. Мы выкурили косячок — впервые за очень долгое время. Мейси рассказывала мне про то, что собирается поступить на работу в Министерство лесной промышленности и поедет озеленять Шотландию этим летом. А я рассказывал Мейси про то, как М. и прадед обсуждали *a posteriori* и про теорию прадеда, согласно которой количество позиций для занятий любовью не может превысить простое число семнадцать. Мы оба рассмеялись, и Мейси стиснула мою руку, и зов плоти стал отчетливо различим в уютной духоте кухни. Затем мы оделись и пошли гулять. Луна была почти полной. Мы брели вдоль шоссе, на которое смотрят наши окна, а потом свернули в узкую улочку с жавшимися друг к дружке домами с ухоженными крошечными палисадниками. Мы почти не разговаривали, но держались за руки, и Мейси призналась, что она здорово поплыла от косячка и совершенно счастлива. Мы дошли до небольшого парка, который оказался закрыт, и постояли перед воротами, любуясь луной сквозь почти сплошь голые ветки. Вернувшись домой, Мейси, не торопясь, приняла ванну, а я снова уединился в кабинете, чтобы уточнить кое-какие детали. Спальня у нас теплая и удобная, даже по-своему роскошная. Кровать два десяти на два сорок — я смастерил ее своими руками в первый год

нашего замужества. Мейси сшила простыни, покрасила их в глубокий темно-синий цвет и расшила кружевами наволочки. Единственная лампа светит из-под абажура из грубой вытертой козлиной кожи — Мейси купила ее у старьевщика, ходившего по домам. Я давно потерял интерес к нашей спальне. Мы опустились рядом в мешанину из пледов и простыней — Мейси, исполненная сладострастия и неги после своей ванны, вытянувшись во весь рост, а я, нависнув над ней на локте. Мейси сказала:

— Я сегодня гуляла вдоль реки. Деревья такие красивые, дубы, вязы... Километрах в полутора за пешеходным мостом есть два европейских бука, ты просто обязан на них взглянуть... о-о-о, как приятно...

Я перевернул ее на живот и гладил по спине, пока она говорила.

— Там растет ежевика, громадные кусты, я таких и не видела никогда, прямо вдоль дороги, и бузина тоже. Я осенью вино сделаю...

Наклонившись, я поцеловал ее в загривок и заломил руки за спину.

Ей нравилось, когда инициатива в постели принадлежала мне, и она не сопротивлялась.

— А река, знаешь, такая спокойная, — продолжала Мейси. — И деревья в ней отражаются, листву роняют. До зимы надо нам вместе туда сходить, к реке, в листву. Я там одно место нашла. О нем никто не знает...

Одной рукой я удерживал локти Мейси в нужном положении, а другой подтягивал к «обручу» ее ноги.

— Я там полчаса простояла не шевелясь, точно дерево. Водяную крысу видела на другом берегу, и утки разные то садились на воду, то взлетали. И еще звук был такой, будто плещется кто-то в реке, а кто — так и не поняла, и две оранжевые бабочки совсем рядом порхали, прямо у руки.

Когда я управился с ее ногами, Мейси сказала:

— Позиция номер восемнадцать.

И мы оба беззвучно засмеялись.

— Давай пойдем завтра к реке, — сказала Мейси, пока я осторожно подталкивал к локтям ее голову. — Тише, тише, больно! — вдруг вскрикнула она и попробовала сопротивляться.

Но было поздно: ее голова и ноги находились внутри обруча из рук, и я уже толкал их навстречу друг другу.

— Что происходит? — взвизгнула Мейси.

В этот миг в расположении ее конечностей воплотились головокружительная красота, благородство человеческих форм и, как совсем недавно в бумажном цветке, завораживающая сила симметрии. Я понял, что вновь впадаю в транс, ощутил, как немеет затылок. Чем дальше проходили через обруч ноги и голова, тем больше казалось, будто Мейси выворачивается наизнанку, словно носок.

— О боже, — выдохнула она. — Что происходит?

И голос ее прозвучал точно издалека.

Ее вроде и не было... А вроде она и была. Откуда-то едва слышно донеслось: «Что происходит?» — и потом не осталось ничего, только эхо ее вопроса, дрожавшее над темно-синими простынями.

По-домашнему

Как сейчас вижу нашу тесную, пересвеченную ванную и Конни с наброшенным на плечи полотенцем, сидящую на краю ванны, зареванную, и себя, наполняющего раковину теплой водой, насвистывающего (вот в каком был восторге) «Teddy Bear» Элвиса Пресли, как сейчас помню (и всегда сразу же вспоминал) ворсинки от махрового покрывала, кружащиеся на поверхности воды, но лишь недавно пришел к выводу, что если считать это *концом* определенной главы (насколько можно говорить о конце применительно к главам реальной жизни), то Раймонд был, так сказать, ее началом и серединой, а если в людских делах не существует глав, то я буду настаивать, что рассказ этот про Раймонда, а вовсе не про девственность, коитус, инцест и рукоблудство. Поэтому позвольте начать с того, что судьба явно подтрунивала надо мной (смысл этих слов станет ясен намного позднее — наберитесь терпения), доверив из всех людей именно Раймонду открыть мне глаза на мою девственность. В Финсбери-парке однажды Раймонд подошел ко мне и, затащив в заросли каких-то лавровых кустов, загадочно согнул и разогнул палец перед моим носом, пристально следя за реакцией. Я смотрел не мигая. После чего повторил его жест, согнув и разогнув свой палец, и увидел, что сделал правильно, потому что Раймонд расплылся в улыбке.

— Сечешь? — сказал он. — Сечешь!

Его возбуждение передалось мне, и я сказал «да», надеясь, что теперь он отстанет и можно будет сгибать и разгибать палец, ища объяснение этой невразумительной перстовой аллегории, в одиночестве. Раймонд схватил меня за лацканы с несвойственной ему порывистостью.

— Ну и что тогда, а? — выдохнул он.

Стараясь выиграть время, я снова согнул средний палец и стал медленно его выпрямлять, нахально и уверенно — до того нахально и настолько уверенно, что у Раймонда перехватило дыхание и весь он как-то напрягся. Я посмотрел на свой эрегированный палец и сказал:

«Посмотрим», — интересно, суждено ли мне сегодня узнать, о чем, собственно, речь.

Раймонду было пятнадцать, на год больше, чем мне, и хотя я считал, что превосхожу его по умственным способностям (почему и сделал вид, будто понимаю значение его жеста), *узнавал* про всякое первым Раймонд, и образовывал меня именно он. Раймонд посвящал меня в таинства взрослой жизни, которые сам постигал скорее интуитивно и никогда до конца. Мир, который он для меня открыл, все его головокружительные составляющие, премудрости и пороки, мир, где он исполнял роль своеобразного конференсье, самому Раймонду не очень был впору. Он знал этот мир неплохо, но мир, так сказать, знать его не хотел. Поэтому, когда Раймонд впервые принес сигареты, я научился глубоко втягивать дым, выпускать его кольцами и складывать ладони чашечкой вокруг спички, как кинозвезда, а Раймонд только кашлял и неуклюже возился; и позже, когда он раздобыл немного марихуаны, о которой мне даже слышать не доводилось, я в конце концов докурился до эйфории, а Раймонд признал (чего я бы на его месте никогда не сделал), что вообще ничего не почувствовал. И еще: хоть именно Раймонд с его низким голосом и пушком на подбородке покупал нам билеты на фильмы ужасов, он просиживал весь сеанс, заткнув уши пальцами и зажмурив глаза. Феноменально, учитывая, что за один только месяц мы посмотрели двадцать четыре фильма. Когда Раймонд украл бутылку виски в универсаме, чтобы угостить меня спиртным, я два часа пьяно хихикал над его судорожными приступами рвоты. Мои первые длинные брюки сначала были брюками Раймонда — его подарок на мое тринадцатилетие. Раймонду они, как и все его брюки, не доставали до щиколотки сантиметров десять, топорщились на бедрах, висели мешком в паху, а теперь, точно парабола нашей дружбы, сидели на мне, как влитые, были настолько удобны, до того хороши, что я проходил в них целый год, не снимая. Затем настала увлекательная пора магазинных краж. План в изложении Раймонда был сравнительно прост. Входишь в книжный магазин «Фойлз», набиваешь карманы книгами и несешь их к перекупщику на Майл-Энд-роуд, который всегда рад приобрести их за полцены. Для первого раза я позаимствовал отцовский плащ, по пути к магазину восхитительно волочившийся по тротуару. Раймонд ждал меня у входа. Он был в рубашке с коротким рукавом — пальто забыл в метро, — но

заверил, что и без пальто справится, поэтому мы вошли. Пока я набивал свои многочисленные карманы небольшими сборниками общеизвестных стихов, Раймонд пытался закамуфлировать у себя на теле семитомник Эдмунда Спенсера, с комментариями. Любому другому на его месте поступок мог сойти с рук хотя бы по причине его отчаянной смелости, но у Раймонда даже смелость была сомнительная, больше похожая на полное пренебрежение обстоятельствами. Заместитель заведующего вырос за спиной Раймонда, едва тот начал снимать книги с полки. Оба они стояли у дверей, когда я проскользнул мимо со своим грузом, успев заговорщически ухмыльнуться Раймонду (по-прежнему в обнимку с томами) и поблагодарить заместителя заведующего, который машинально распахнул для меня дверь. К счастью, неудавшаяся кража Раймонда выглядела настолько бессмысленно, а его оправдания — до того идиотскими и самоочевидными, что заведующий в конце концов его отпустил, видимо и впрямь приняв за психически ненормального.

И наконец, пожалуй, самое важное: Раймонд открыл для меня сомнительные прелести мастурбации. Мне было двенадцать — заря моего сексуального дня. Мы обследовали подвал старого разбомбленного дома в надежде найти что-нибудь, оставленное его обитателями, как вдруг Раймонд приспустил штаны, точно собираясь пописать, и начал с невообразимым энтузиазмом надраивать свой член, приглашая и меня последовать его примеру. Я последовал, и вскоре по всему телу разлилась теплая смутная истома, показалось, будто плыву и одновременно оплываю, будто все мои внутренности могут в любой момент истаять дотла. И все это время мы наяживали не покладая рук. Я уже начал было поздравлять Раймонда с открытием такого простого, дешевого и приятного способа коротать время, параллельно размышляя над тем, не посвятить ли всю свою жизнь этому божественному ощущению (и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что в определенном смысле именно так и поступил), и еще всякой всячины собирался наговорить, как вдруг меня точно приподняли за шиворот, руки, ноги, кишки вытянули, скрутили, отжали, выдавив в результате два солидных плевка спермы, которые угодили на воскресный пиджак Раймонда (было воскресенье) и стекли в его нагрудный карман.

— Эй, — сказал он, сбившись со своего ритма, — ты зачем это сделал?

Не успев прийти в себя после только что пережитого сокрушительного потрясения, я не сказал ничего. Просто не мог.

— Я тебя такой вещи учу, — разглагольствовал Раймонд, стряхивая щелчками переливающуюся субстанцию с темной ткани своего пиджака, — а ты только и можешь, что плевать.

Таким образом, к четырнадцати годам я постиг под руководством Раймонда множество наслаждений, которые по праву считал принадлежностью взрослой жизни. Я смолил по десять сигарет в день, пил виски, когда удавалось им разжиться, был знатоком по части насилия и оскорблений, курил пьянящую смолу *cannabis sativa* и признавал свою рано наставшую половую зрелость, хотя, как ни странно, никогда не пытался найти ей достойного применения — страсти и тайные фантазии еще не успели напитать воображение. И все эти занятия оплачивались дельцом на Майл-Энд-роуд. В формировании этих пристрастий Раймонд был моим Мефистофелем, неуклюжим Вергилием для моего Данте: он указал мне путь в рай, куда ему самому дорога была заказана. Он не курил — сигареты вызывали у него кашель, виски — тошноту, в кино ему было или страшно, или скучно, травка на него не действовала, и, пока я усеивал сталактитами потолок подвала в старом разбомбленном доме, он не мог извергнуть из себя ничего.

— Не исключено, — сказал он мрачно, покидая однажды подвал, — не исключено, что я просто перерос это дело.

Вот почему, когда Раймонд замер напротив, сосредоточенно сгибая и выпрямляя палец, я почувствовал, что стою на пороге еще одной устланной мехом залы в том громадном, сумрачном и манящем особняке, куда пускают лишь взрослых, и что если я чуть-чуть выжду, скрывая из гордости свою невежественность, то Раймонд вскоре все объяснит, а вслед за этим я его перещеголяю.

— Посмотрим...

Мы пошли через Финсбери-парк, где Раймонд в давние, озорные времена кормил голубей стеклянным крошечком, где с невинным наслаждением, достойным «Прелюдии»^[6], мы вместе заживо запекли волнистого попугайчика Шейлы Харкорт, лежавшей тут же на лужайке в глубоком обмороке, где мальчишками мы прятались в кустах и

забрасывали камнями парочки, трахавшиеся в беседке, — через Финсбери-парк, и Раймонд сказал:

— Кого ты знаешь?

Кого знаю? Я еще не разгадал первый ребус, а это уже мог быть второй — Раймонд отличался рассеянностью. И я сказал: «Кого *ты* знаешь?», на что последовал ответ: «Лулу Смит», мгновенно все разъяснивший (во всяком случае, предмет разговора, ибо степень моей невинности не поддается описанию). Лулу Смит! Крошка Лулу! Одно имя обвивает мои яйца влажной ладошкой. Лулу Лямур, про которую говорили, что она готова на все и чем уже только ни занималась. Были шутки про евреев, шутки про слонов и шутки про Лулу — им-то она и обязана своей невообразимой репутацией. Лулу-худышка (как раскручивается маховик памяти!), чья физическая неимоверность сопоставима лишь с неимоверностью приписываемой ей половой ненасытности и умений, ее сальность — с низостью пробуждаемых ею чувств, миф о ней — только с реальностью. Зулуска Лулу! — оставившая в северном Лондоне (если верить легенде) череду брызгающих слюной идиотов, пугающий ряд разрушенных судеб и членов на всем протяжении от Шепардз-Буш до Холлоуэй-роуд, от Онгара до Ислингтона. Лулу! Ее сотрясающиеся тела и смеющиеся пороссячи глазки, пышные ляжки и перемычки на пальцах, это ходячее, пыхтящее нагромождение плоти, — замаскированное под школьницу, которую с кем только молва ни спаривала, включая жирафа, колибри, больного внутри «железного легкого»^[7] (который по завершении акта умирал), яка, Кассиуса Клея^[8], мартышку, батончик «Марса» и рычаг для переключения скоростей в «моррис-майноре»^[9] ее дедушки (место которого затем занимал дорожный инспектор).

Финсбери-парк был пропитан духом Лулу Смит, и во мне впервые проснулись пока еще неясные желания, не говоря уж о любопытстве. Приблизительные представления о том, как это делается, у меня были, ибо кто, как не я, видел совокупляющиеся парочки во всех углах парка в долгие летние вечера, кто, как не я, бросал в них камни и водяные бомбы, — в чем теперь суеверно раскаивался. И внезапно там, в Финсбери-парке, лавируя меж кучек свежего собачьего дерьма, я осознал и возненавидел свою девственность; я догадывался, что это последняя запертая комната в особняке, догадывался, что она наверняка окажется самой роскошной, обставленной еще тщательнее,

чем все предыдущие, ее чары — еще более губительными, и тот факт, что я в нее до сих пор не проник, не был, не состоял, не участвовал, означат полнейшую анафему, позорное клеймо на лбу, — и хотелось, чтобы Раймонд, по-прежнему державший перед моим носом свой стоявший торчком средний палец, поскорее объяснил, что делать. Раймонд наверняка знал...

После школы мы с Раймондом приходили в кафе возле кинотеатра «Одеон» рядом с Финсбери — парком. Пока наши ровесники ковыряли в носках над коллекцией марок или домашним заданием, мы с Раймондом часами просиживали здесь, обсуждая в основном простейшие способы заработка и попивая чай из огромных кружек. Случалось, мы болтали с рабочими, которые туда заходили. Жаль, там не было Милле^[10], чтобы запечатлеть, как мы слушали с открытыми ртами их заумный вздор и небылицы про сделки с водителями грузовиков, свинец с церковных крыш^[11], кражу топлива из Инженерно-строительного департамента, и потом про лобки, промежности, баб, про поглаживанья, порку, еблю, отсосы, про жопы и сиськи, сзади, сверху, снизу, спереди, с, без, про царапанье и отрыванье, лизанье и испражнение, про пиздищи сочные, сочащиеся, теплые, бездонные и, наоборот, фригидные, высушенные, но все равно стоившие того, про хуи старые и обмякшие или юные и неутомимые, про кончанье — слишком быстрое, слишком долгое или вообще не наступившее, про сколько раз в день, про сопутствующие болезни, про гной и набухание, язвы и горести, про загубленные яичники и усохшие яйца; мы слушали про то, кого и как ебут мусорщики, кому вставляют молочники, что случается употреблять углекопам, кого доводилось укладывать ковроукладчику, что бывает плотным у плотников, что может замерить землемер, откаблучить сапожник, вынюхать газовщик, прочистить водопроводчик, подсоединить электрик, ввести врач, добиться адвокат, впендюрить продавец мебели, и все в таком духе — дикое месиво из затасканных каламбуров, недвусмысленных намеков, формул, лозунгов, выдумок и похвальбы. Я слушал, не понимая смысла, запоминая и систематизируя лишь то, что со временем начну рассказывать сам, коллекционируя истории, касавшиеся извращений и сексуальных приемов, — по сути, целый свод норм сексуального поведения, так что, когда я наконец начал понимать, в меру своей неопытности, о чем все это, в моем распоряжении оказался полный

набор необходимых знаний, которые (вкуче с наскоро проглоченными наиболее интересными пассажами Хэвлока Эллиса и Генри Миллера) [12] создали мне репутацию несовершеннолетнего эксперта по вопросам коитуса, и десятки молодых людей (включая, к счастью, и дам) приходили ко мне за советами. И все это — а репутация сопровождала меня и в художественной школе, что весьма разнообразило мое обучение, — все это после одного-единственного перетраха, про который, собственно, и рассказ.

Итак, именно там, в кафе, где я столько всего выслушал, запомнил, но не понял, Раймонд согнул наконец средний палец, обвив им ручку своей кружки, и сказал:

— Лулу Смит показывает за шиллинг.

Это меня обрадовало. Обрадовало, что мы не летим очертя голову, что, оставшись наедине с Зулуской Лулу, я не обязан буду проделать то смутное и пугающее, о чем не имею представления, что первый этап такого важного любовного приключения будет носить ознакомительный характер. Не говоря уж о том, что за всю жизнь я видел только двух голых женщин. Порнографические фильмы, которые мы регулярно смотрели, в те дни были недостаточно порнографическими и демонстрировали лишь ноги, спины и экстатические лица счастливых пар, оставляя дорисовывать опущенные детали нашему набухающему воображению; для пособия они не годились. Что же до двух голых женщин, то моя мать была необъятной и гротесковой, и кожа на ней висела, как на освежеванной жабе, а моя десятилетняя сестра — безобразной летучей мышью, на которую ребенком я с трудом заставлял себя смотреть, хотя частенько приходилось сидеть с ней в одной ванне. К тому же шиллинг — это почти ничего, учитывая, что мы с Раймондом были богаче большинства работяг в кафе. Если уж на то пошло, я был богаче всех моих многочисленных дядей, богаче моего бедного, измученного работой отца, богаче любого из известных мне членов нашей семьи. Случалось, меня распирало от смеха при мысли о том, как отец трудится по двенадцать часов на мучном заводе, как приходит вечером домой с измученным, обескровленным, раздраженным лицом, но еще смешнее было думать о тех тысячах, что каждое утро высыпали на улицу из одинаковых, таких же, как наш, домов, чтобы всю неделю провкалывать, в воскресенье отдохнуть, а с понедельника снова

добровольно тянуть лямку на заводах, фабриках, лесопильнях и пристанях Лондона, возвращаясь со смены на день старше, на лень измученнее, но ничуть не богаче; за кружками нашего чая мы с Раймондом ржали над этим величайшим надувательством — тасканием, копанием, бросанием, упаковкой, проверкой, потом, стопами ради выгоды других; над тем, как для самоуспокоения они привыкли видеть в этой каторге добродетель, как вознаграждали себя, если им удавалось прожить, не пропустив ни дня из этого ада; но уморительнее всего было то, как дядя Боб или Тед или отец преподносили мне в подарок один из своих потом и кровью заработанных шиллингов (а в исключительных случаях десятишиллинговую банкноту), — я ржал, ибо за один удачный поход в магазин зарабатывал больше, чем все они, вместе взятые, за неделю. Ржал, конечно, про себя — можно ли было глумиться над таким подарком! — особенно если учесть то очевидное удовольствие, которое они испытывали от процесса его вручения. Так и вижу, как один из моих дядей или отец расхаживает взад-вперед по нашей крошечной гостиной с монетой или банкнотой в руке, предаваясь воспоминаниям, сыпля историями и наставлениями о Жизни, упиваясь ролью дарителя, исполненный счастьем настолько абсолютным, что при взгляде на него и тебя охватывает счастье. Они себя ощущали (и ненадолго действительно становились) благородными, мудрыми, рассудительными, добросердечными, широкими, а возможно — кто знает, — и чуточку святыми; патрициями, самыми мудрыми, наищедрейшим образом осыпающими сына или племянника плодами своей расчетливости и богатства, — они были богами в ими же созданном храме, и кто я такой, чтобы пренебрегать их дарами? Подгоняемые пинками под зад на своих фабриках по пятьдесят часов в неделю, они нуждались в этих гостиничных мираклях, этих мифических противостояниях Отца и Сына, и, понимая это, видя всю ситуацию насквозь, я брал их деньги, даже немного подыгрывал, изнывая от скуки, приберегая веселость на потом, когда хохот вырывался из меня со стопами, доводя до слез и изнеможения. Сам того не сознавая, я был учеником, многообещающим учеником госпожи Иронии.

Шиллинг в те времена был не такой уж и большой платой за мимолетное обозрение предмета всеобщего умолчания, разгадки

тайны тайн, Грааль плоти, манды Крошки Лулу, и я попросил Раймонда устроить просмотр как можно скорее. Раймонд все больше и больше превращался в администратора, сунул брови с важным видом, лопотал про даты, время, места, платежи, вечно что-то подсчитывал на обратной стороне конверта. Раймонд был одним из тех редких людей, которые не только получают огромное удовольствие от процесса организации, но и органически к нему неспособны. Я вполне допускал, что мы можем явиться не в тот день и не в то время, что возникнет неразбериха из-за оплаты или продолжительности просмотра, но одна вещь в конечном итоге была абсолютно гарантирована (пожалуй, даже с большей вероятностью, чем завтрашний восход) — то, что нам наконец будет явлен изысканный передок. Ибо жизнь, несомненно, благоволила Раймонду; хотя в те дни я еще не мог выразить этого словами, но уже догадывался, что во вселенской бухгалтерии личных судеб Раймонду выдали участь, диаметрально противоположную моей. Фортуна водила его за нос, возможно, даже нацепила шоры ему на глаза, но никогда не плевала в лицо, никогда специально не наступала на его экзистенциальные мозоли — все ошибки, потери, измены и раны Раймонда были в конечном итоге комичны, а не трагичны. Помню, как однажды Раймонд заплатил семнадцать фунтов за пятидесятиграммовый брикет гашиша, который оказался отнюдь не гашишем. Для покрытия убытков Раймонд отнес всю упаковку в одно популярное местечко в Сохо и попытался перепродать ее полицейскому в штатском, который, к счастью, не завел дело. В конце концов (в те времена уж по крайней мере), не было закона, запрещавшего торговлю спрессованным конским дерьмом, пусть и завернутым в фольгу. Потом был кросс. Раймонд бегал посредственно, но оказался в числе десяти других бегунов, отстаивавших честь школы на районных состязаниях. Я всегда отправлялся с ним. Не было такого вида спорта, за которым я наблюдал бы с большей добросердечностью, увлечением и восторгом, чем хороший кросс. Я обожал изможденные, перекошенные лица бегунов, когда они появлялись в коридоре из флажков, ведущем к финишу; особенно мне нравились те, что начинали маячить там после того, как первые человек пятьдесят уже финишировали, — эти выкладывались по полной, ведя отчаянную, дьявольскую борьбу за какое-нибудь сто тринадцатое место. Я смотрел, как, спотыкаясь, они

дотягивают до заветной черты, как держатся за глотки, чтобы их не вырвало, как валятся, взмахнув руками, на траву, и был уверен, что передо мной воплощенный пример тщетности человеческих усилий. Только первые тридцать участников могли на что-то рассчитывать в состязании, и стоило последним из них пересечь черту, как зрители начинали расходиться, предоставляя оставшимся вырывать победу у самих себя, — и именно в этот момент мой интерес просыпался по-настоящему. Не было ни судей, ни шерифов, ни хронометристов, а я все стоял у финишной черты в меркнувшем свете клонящегося к закату зимнего дня и смотрел, как отставшие бегуны плетутся к конечной отметке. Тем, кто упал, я помогал подняться, прикладывал носовые платки к их окровавленным носам, похлопывал по спине блюющих, массировал сведенные судорогами икры и ступни — ну, просто сама Флоренс Найтингейл^[13], с той только разницей, что я испытывал настоящий восторг, радостное возбуждение от торжества силы духа этих слабаков, доканывавших себя из чистого альтруизма. Как я воспарял, как все плыло перед глазами, когда после десяти-, пятнадцати-, даже двадцатиминутного ожидания на огромном унылом пустыре, со всех сторон окруженном фабриками, трубами, обшарпанными домами и гаражами, на холодном, усиливающемся ветру, приносившем с порывами отвратительную колкую морось, после ожидания в уже сгустившихся сумерках вдруг различал в дальнем конце пустыря бесформенную белую кляксу, медленно приближавшуюся к коридору флажков, подтверждавшую каждым шагом онемевшей стопы по мокрой траве свое микроничтожество в этом макром мире. И там, под свинцовым городским небом, точно затем, чтобы соединить всю сумму понятий о сложнейших процессах органической эволюции с понятием человеческого предназначения, в качестве наглядного пособия мне крошечная амебоподобная клякса в дальнем конце поля меняла форму, приобретая очертания человека, но не меняла цели, продолжала одержимо ползти, повинуюсь бессмысленному стремлению достичь флажков, — сама жизнь, безликая, вопреки всему возрождающаяся из пепла жизнь, и, когда этот силуэт падал как подкошенный за финишной чертой, сердце мое ликовало, дух воспарял, устремляясь к ней в дерзком порыве вырваться из мерзких и губительных тисков раз и навсегда установленного миропорядка — Логоса.

— Невезуха, Раймонд, бывает, — подбадривал я его, протягивая свитер. — В следующий раз отыграешься.

И с бессильной улыбкой, в которой угадывалась твердая печальная мудрость Арлекино и Фесте^[14], считающих, что именно Шут, а не Трагик обладает главным козырем, двадцать вторым Арканом, чья буква «Тоф»^[15], чей символ «Sol»^[16], — с улыбкой, дрожавшей на его губах, когда мы покидали теперь уже почти целиком проглоченный мраком пустырь, Раймонд говорил:

— Ну, это же только кросс, забава для маленьких, сам знаешь.

Раймонд дал слово, что уже завтра после школы ознакомит божественную Лулу Смит с нашим предложением, и, поскольку в тот вечер меня обязали присматривать за сестрой, пока родители развлекались на собачьих бегах в Уолтемстоу, мы попрощались с Раймондом в кафе. По дороге домой я не мог думать ни о чем, кроме пизды. Она мерещилась мне в улыбке кондукторши, слышалась в уличном грохоте машин; я различал ее запах в вонии гуталиновой фабрики, мысленным взором отыскивал под юбками шедших на встречу домохозяек, ощущал на кончиках своих пальцев, чуял в воздухе, рисовал в воображении за ужином — «жабой в норке»^[17], которую заглатывал, точно приобщаясь к несусветному таинству, как если бы ел гениталии из сосисок и теста. И при этом по-прежнему не представлял, как выглядит настоящая пизда. Я посматривал на сестру через стол. Похоже, я малость преувеличил, назвав ее безобразной летучей мышью: она больше не казалась мне такой уж безнадежной уродиной. Зубы торчат, этого отрицать нельзя, но зато впалость щек в темноте можно и не заметить, а с вымытой головой, как сейчас, и вообще не такая уж страхолюдина. Поэтому неудивительно, что, приканчивая «жабу», я прикидывал, как можно было бы с помощью небольшого подкупа и, возможно, откровенной хитрости, пусть и всего на несколько минут, заставить Конни преобразиться из младшей сестры в — ну, предположим — очаровательную молодую особу, кинозвезду, и слушай, Конни, почему бы нам не нырнуть в постель и не разыграть одну трогательнейшую сцену, давай-ка снимай свою идиотскую пижаму, а я пока потушу свет... И вооруженный этим знанием, полученным в выигрышной для меня атмосфере, я приду на встречу с великой и ужасной Лулу уверенным и развязным, и это

холодящее кровь испытание покажется пустяком, и, кто знает, возможно, мне удастся отдрючить ее прямо там, в ходе просмотра.

Мне никогда не доставляло особой радости сидеть с Конни. Она была капризной, вечно требующей внимания, избалованной и постоянно хотела во что-нибудь играть, вместо того чтобы просто посмотреть телевизор. Обычно мне удавалось спроваживать ее спать на час раньше, переводя часы вперед. В тот вечер я перевел их назад. Едва мать с отцом ушли на собачьи бега, я спросил у Конни, в какую игру ей хотелось бы поиграть — она может выбрать любую.

— Не хочу с тобой играть.

— Почему нет?

— Ты весь ужин на меня пялился.

— Конечно пялился, Конни. Я же думал, во что бы мы могли поиграть, и поэтому смотрел на тебя, вот и все.

В конце концов она согласилась на прятки — я особенно настаивал на них, учитывая размеры нашего дома, в котором укрыться можно было только в двух комнатах, и обе были спальнями. Первой пряталась Конни. Я закрыл глаза и сосчитал до тридцати, постоянно прислушиваясь к шажкам в родительской спальне прямо надо мной, не без радости уловив скрип кровати — она зарывалась под пышное стеганое одеяло, бывшее ее вторым излюбленным укромным местом. Крикнув: «Иду искать!» — я начал подниматься по лестнице. На первой ступеньке я, кажется, еще крайне смутно представлял себе, что буду делать; возможно, просто разведая, пойму, где что, запомню схему расположения на будущее — понятно же, что ни в коем случае нельзя напугать младшую сестру, которая тут же расскажет обо всем отцу, а это гарантирует скандал, необходимость срочно выдумывать убедительные оправдания, крик, слезы и тому подобное, и как раз в момент, когда мне так нужна вся моя энергия для воплощения очередной навязчивой идеи. Однако по дороге наверх кровь отлила от чела к члену, можно сказать — буквально от разума к чувствам, и, переводя дыхание на верхней ступеньке, берясь влажной рукой за ручку ведущей в спальню двери, я твердо решил изнасиловать свою сестру. Мягко распахнув дверь, я почти пропел, растягивая слова: — Конни-и-и, ты где-е-е-е?

В ответ на это она обычно хихикала, но сейчас не издала ни звука. Затаив дыхание, я на цыпочках подошел к кровати и пропел:

— Я зна-а-а-ю, где ты пря-а-а-а-чешься, — и, склонившись над выдававшим ее бугром под стеганым одеялом, прошептал: — Вот ты мне и попалась.

После чего начал медленно приподнимать тяжелое покрывало, потечески, почти с нежностью взгляды ваясь в теплую тьму под ним. Дуря от предвкушения, я наконец его откинул, и там, беспомощно и невинно вытянувшись передо мной, лежали родительские пижамы, и, не успев даже толком ни отпрянуть, ни удивиться, я получил такой бездумной силы удар в поясницу, какой может нанести брату только его родная сестра. Она и приплясывала от радости перед настезь распахнутой дверцей платяного шкафа.

— Я тебя видела, видела, а ты меня — нет!

Чтобы хоть как-то разрядиться, я пнул ее в голень и сел на кровать прикинуть, что дальше, а Конни, как легко догадаться, картинно плюхнулась на пол и изобразила пронзительный плач. Ее вопли довольно быстро мне надоели, и я пошел вниз, где попробовал читать газету, уверенный, что Конни долго ждать себя не заставит. И точно: она спустилась, все еще обиженная.

— Во что теперь поиграем? — спросил я.

Она присела на краешек дивана, надув губы, шмыгая носом и ненавидя меня. Я уже подумывал отказаться от своего плана и провести вечер перед телевизором, как вдруг мне в голову пришла одна мысль — мысль, безупречная по своей простоте, изяществу, ясности и форме, мысль, обреченная на успех, как костюм, сшитый на заказ известным портным. Есть одна игра, от которой все домашние, лишенные воображения маленькие девочки, вроде Конни, буквально тают, игра, в которую, едва научившись произносить нужные слова, она умоляла с ней поиграть, так что в отрочестве мне часто приходилось краснеть из-за ее прилюдных упрашиваний, искупавшихся лишь моими неизменными отказами; короче, это была такая игра, что я бы предпочел быть скорее сожженным заживо, чем чтобы кто-нибудь из моих друзей застукал меня за ней. Но теперь наконец настал час для игры в «дочки-матери».

— Я знаю, во что ты хочешь играть, Конни, — сказал я.

Она, конечно же, не ответила, но мои слова повисли в воздухе, как наживка.

— Я знаю, во что *ты* хочешь играть.

Она подняла голову:

— Во что?

— В твою любимую игру.

Лицо ее озарилось:

— «Дочки-матери»?

Конни как подменили, теперь ее захлестывала радость. Она притащила из своей комнаты игрушечные коляски, кукол, кухонную плиту, холодильники, раскладушки, чашки, моечную машину и собачью конуру и стала раскладывать все это вокруг меня с энтузиазмом охваченной организационным ражем хозяйки.

— Теперь ты иди сюда, нет, туда, это как будто наша кухня, а здесь дверь, в которую ты войдешь, а там войти нельзя, потому что там стена, и я вхожу, вижу тебя и говорю, потом ты говоришь и выходишь, а я готовлю обед...

Меня закружило в вихре скучных, каждодневных, занудных банальностей, жутких пустяковых подробностей из жизни наших родителей и их друзей, жизни, которой Конни так старательно пыталась подражать. Я шел на работу и приходил назад, шел в паб и приходил назад, отправлял письмо и приходил назад, шел в магазины и приходил назад, я читал газету, трепал бакелитовые щечки моих отпрысков, шел на работу и приходил назад. А Конни? Она готовила на плите, мыла посуду в игрушечной раковине, купала, кормила, укладывала спать и будила шестнадцать своих кукол, до бесконечности подливала им чай и была счастлива. Она была межгалактической-земной-богиней — домохозяйкой, владела и повелевала всем вокруг, все видела, все знала, объявляла, когда мне уходить, когда возвращаться, в какой я нахожусь комнате, что должен сказать, когда и с какой интонацией. Она была счастлива, и счастье это было абсолютным. Я и не предполагал, что такое счастье возможно: она улыбалась широкой, радостной и наивной улыбкой, которую больше мне никогда увидеть не довелось, — улыбкой человека, вкусившего рай на земле. В какой-то момент ее настолько захлестнуло изумление и восторг от происходящего, что, оборвав предложение на полуслове, она присела на корточки с сияющими глазами и издала длинный мелодичный вздох редкого восхитительного блаженства. Я уже почти пожалел, что собирался ее изнасиловать. Но вернувшись с работы в двадцатый раз за последние полчаса, сказал:

— Конни, мы упускаем одну очень важную вещь, которой мама и папа занимаются.

Она не могла поверить, что мы что-то упускаем, и хотела поскорей об этом услышать.

— Они ебутся, Конни, как ты, безусловно, знаешь.

— Ебуцца?

В ее устах слово казалось бессмысленным набором звуков, каковым, собственно, и являлось. Теперь мне предстояло наполнить его нужным содержанием.

— Ебуцца? Это как?

— Это то, чем они занимаются ночью, когда ложатся в постель, перед тем как заснуть.

— Покажи.

Я объяснил, что для этого нам надо пойти наверх и лечь в постель.

— Нет, не надо. Мы можем притвориться, что это наша постель, — сказала она, показывая на квадратный узор на ковре.

— Я не могу одновременно притворяться и показывать.

И вот мы снова поднимались по лестнице, и кровь бухала в висках, и мое второе «я» гордо расправлялось в трусах. Конни тоже порядком разгорячилась, все еще в упоении от игры и от нового поворота, который та принимала.

— Первое, что они делают, — сказал я, подводя ее к кровати, — это раздеваются.

Я толкнул ее на кровать и, хотя пальцы практически не слушались от возбуждения, стал расстегивать пуговицы на ее пижаме — и вот уже она сидела передо мной голенькая, все еще сладко пахнущая после недавно принятой ванны, глупо хихикающая. Дальше я разделся сам, оставив только брюки, чтобы не напугать ее раньше времени, и подсел к ней. В детстве мы достаточно насмотрелись друг на друга голышом, чтобы не придавать наготы никакого значения, правда, это было довольно давно, и теперь она немного смущалась.

— Ты уверен, что они этим занимаются?

К этому моменту похоть уже развеяла остатки моей нерешительности.

— Да, — сказал я. — Это элементарно. У тебя там есть дырочка, и я в нее вставляю свою пипиську.

Она зажала рот рукой и недоверчиво захихикала.

— Как смешно. Зачем они это делают?

Должен признать, что мне и самому чудился в этом какой-то подвох.

— Так они выражают свою любовь.

У Конни явно закрались подозрения, что я все выдумываю, и, в сущности, так и было. Она уставилась на меня широко открытыми глазами:

— Совсем того? Они что, сказать об этом не могут?

Я не собирался отступать: безумный ученый, объясняющий принципы своего нового шизоидного изобретения — коитуса — аудитории скептически настроенных рационалистов.

— Слушай, — сказал я сестре. — Дело не только в словах, но и в приятных ощущениях. Это делается ради приятных ощущений.

— Ради ощущений? — Она по-прежнему мне не верила. — Ощущений? Как это — ради ощущений?

— Сейчас покажу, — сказал я.

И с этими словами повалил Конни на кровать и лег сверху, как, по моим представлениям, поступали герои фильмов, которых мы насмотрелись с Раймондом. На мне оставались одни трусы. Конни смотрела не мигая, и во взгляде ее было значительно больше скуки, чем испуга. Я поерзал из стороны в сторону, стараясь высвободиться из трусов, не вставая.

— Я все равно не понимаю, — пожаловалась Конни снизу. — У меня нет никаких ощущений. У тебя есть ощущения?

— Сейчас, — буркнул я, спуская трусы концами пальцев до самых ступней. — Потерпи — тогда будут.

Я начинал злиться на Конни, на себя, на весь мир, но больше всего на трусы, из которых никак не удавалось выпутать щиколотки. Но вот наконец свобода! Мой напряженный член лип к животу Конни, и я попробовал направить его между ее ног одной рукой, перенеся всю тяжесть тела на другую. Я искал ее крошечную щелочку, не имея ни малейшего представления о том, что именно ищу, но готовый в любую секунду закружиться в вихре невероятных ощущений. Возможно, моему воображению рисовалась теплая обволакивающая норка, но сколько бы я ни тыкал и ни вертел, сколько бы ни толкал и ни ввинчивал, всюду была одна тугая пружинистая кожа. Конни тем временем лежала на спине, изредка отпуская короткие замечания.

— О-о, там я хожу пи-пи. Не может быть, чтобы *наши* мама и папа этим занимались.

Моя опорная рука затекла, тело ныло, но я продолжал пропихивать и проталкивать вопреки растущему отчаянию. Каждый раз, когда Конни спрашивала: «Ну и где ощущения?» — мое второе «я» теряло очередную толику упругости. Наконец пришлось взять тайм-аут. Я сел на краю кровати, обдумывая свое позорное поражение, а Конни приподнялась за моей спиной на локтях. Вслед за этим я почувствовал, как кровать судорожно затряслась подо мной, и, обернувшись, увидел перекошенное, в слезах, лицо Конни, задохнувшейся в беззвучном пароксизме смеха.

— Ты чего? — спросил я, но она только неопределенно показала рукой в мою сторону и со стоном плюхнулась на спину, точно обессилив от охватившего ее веселья.

Я сидел рядом, не понимая, что это означает, но, исходя из продолжающихся всхлипов и вибраций за спиной, решил отложить дальнейшие попытки. Наконец у нее получилось выдавить несколько слов. Она присела и, показывая на мой все еще напряженный член, выдохнула:

— Он такой... такой...

Тут ее охватил очередной приступ, посреди которого она с трудом смогла выговорить на одном дыхании: «Такой смешной, он такой смешной!» — вслед за чем пошли пронзительные, сдавленные повизгивания.

Я почувствовал, как опадаю вслед за своей эрекцией, скатываюсь в тоскливую пустоту, вдруг осознав благодаря этому последнему унижению, что рядом со мной никакая не девочка, не настоящая представительница женского пола; она, конечно, и не мальчик, но девочкой ее тоже не назовешь — сестра есть сестра. Я посмотрел на свой поникший член, отметив, что вид у него виноватый, и уже хотел было начать одеваться, как вдруг Конни, теперь притихшая, тронула меня за локоть.

— Я знаю, куда это вставляется, — сказала она и снова легла, разведя ноги, о чем мне не приходило в голову ее попросить. Она устроилась поудобнее между подушек. — Я знаю, где дырочка.

Я забыл, что это сестра, и член снова ожил, налившись надеждой и любопытством в ответ на приглашающий шепот Конни. Она больше не возражала, вновь играна в «дочки-матери», вновь была у руля. Сама помогла мне войти в ее узкую сухую детскую шелку, и мы немного лежали не двигаясь. Я так хотел, чтобы меня увидел Раймонд (хорошо, что он открыл мне глаза на мою девственность), так хотел, чтобы меня увидела Крошка Лулу, и вообще, будь это в моей власти, я бы по очереди пропустил через нашу спальню всех своих друзей, всех, кого знал, дабы они смогли насладиться великолепием моей позы. Ведь важнее истомы, важнее вспышек на внутренней оболочке глаз, колотьбы в животе, пожара в паху или душевных потрясений — важнее всех этих вещей (которых я все равно в тот момент не испытывал), важнее даже желания их испытать была гордость, гордость от того, что ебу, и пусть пока всего лишь Конни, мою десятилетнюю сестру, но будь на ее месте хромоногая горная коза, я бы все равно с гордостью возлежал в этой самой подобающей мужчине позиции, заранее предвкушая, как вскоре смогу сказать: «Я ебал», заранее навсегда и безоговорочно причисляя себя к той лучшей половине человечества, что познала коитус и оплодотворила им мир. Конни тоже лежала не шевелясь, полузакрыв глаза и ровно дыша, — она спала. По времени ей давно уже полагалось, и к тому же наша странная игра ее утомила. Я слегка подвигался вперед-назад, всего несколько раз, и разрядился самым унижительным и беспомощным образом, не почувствовав почти ничего. Зато Конни проснулась в негодовании.

— Ты в меня написал! — и заплакала.

Не обращая внимания, я встал и начал одеваться. Не исключено, что это было одним из самых безотрадных соитий в истории совокупляющегося человечества — ложь, хитрость, унижение, инцест, сон одного из участников, мой комариный оргазм, а теперь еще и рыдания, разносившиеся по спальне, но я был доволен и соитием, и собой, и Конни, и тем, что все позади и какое-то время об этом можно не думать. Я отвел Конни в ванную и пустил в раковину воду: скоро вернуться родители, и к их приходу Конни должна спать у себя в постели. Наконец-то я прорвался во взрослую жизнь, это было приятно, но видеть наготу сестры и вообще чью-либо наготу в тот момент отпало всякое желание. Завтра я попрошу Раймонда отменить

встречу с Лулу, если только он не захочет идти к ней без меня. А я точно знал, что этого он не захочет.

Последний день лета

Мне двенадцать, лежу почти нагишом на животе на лужайке за домом, жарюсь на солнце и впервые слышу ее смех. Ничего не знаю, не шевелюсь, просто закрываю глаза. Смех девчачий, девичий, короткий и нервный, так смеются, когда смеяться не над чем. Половина лица скрыта в траве, которую я за час до этого постриг, пахнет прохладной землей. Легкий ветерок тянет с реки, послеполуденное солнце покусывает спину, толчки смеха, и все это сливается в голове в одно. Когда смех стихает, слышно, как ветер шелестит страницами моего комикса, как Элис плачет на втором этаже и как летний зной сгущается над садом. Потом слышны шаги по лужайке, идут ко мне, и я так резко сажусь, что перед глазами круги и все вокруг обесцвечено. Рядом с братом какая-то толстуха — то ли тетка, то ли девчонка. Она до того жирная, что даже не может двигать руками. Шея в резиновых шинах. Они оба смотрят на меня и говорят обо мне, а когда подходят вплотную, я встаю и здороваюсь с ней за руку, и, не отводя глаз, она издает звук, похожий на отрывистое фырканье дрессированной лошади. Звук мне уже знаком, это ее смех. Ладонь у нее горячая, и мокрая, и розовая, как губка, с ямочками у оснований каждого пальца. Брат говорит, что ее зовут Дженни. Она будет жить в комнате на чердаке. У нее огромное лицо, круглое, как красная луна, и очки с такими толстыми линзами, что глаза под ними размером с шары для гольфа. Когда она отпускает мою руку, я совсем не знаю, что сказать. Зато Питер говорит без умолку, рассказывает, какие мы выращиваем овощи, какие цветы, показывает место, откуда из-за деревьев видна река, и потом ведет ее обратно к дому. Брат старше меня ровно вдвое и горазд трепать языком.

Дженни въезжает на чердак. Я туда несколько раз лазил рыться в старых коробках или смотреть на реку из маленького окна. В коробках, вообще-то, ничего особого нет: лоскуты тканей и выкройки. Возможно, некоторые действительно остались от мамы. В одном углу свалены пустые рамы для картин. Один раз я туда попал, потому что снаружи лил дождь, а внизу шла разборка между Питером и остальными. Я помог Хосе устроить там спальню. Хосе сначала жил с

Кейт, но прошлой весной вынес от нее свои вещи и переселился в пустую комнату рядом с моей. Мы унесли коробки и рамы в гараж, покрасили пол черной краской и набросали половики. Затем разобрали вторую кровать в моей комнате и притащили ее наверх. Кровать, стол со стулом, небольшой шкаф плюс скошенный потолок — и вдвоем там сразу стало не повернуться. Из вещей у Дженни с собой только маленький плоский чемодан и ручная сумка. Я тащу их наверх, а она идет следом, пыхтя все громче, и останавливается посередине третьего пролета передохнуть. Мой брат Питер поднимается следом, и мы втискиваемся в комнату, словно нам тут предстоит жить всем вместе, и осматриваемся как первый раз. Я показываю в окно, чтобы она увидела реку. Дженни садится и опускает на стол здоровенные локти. Она то и дело шлепает по своему влажному красному лицу большим белым носовым платком, пока Питер что-то рассказывает. Я сижу на кровати у нее за спиной, поражаясь этой громадине, и замечаю, что толстые розовые ноги под стулом сужаются книзу и втиснуты в крошечные туфли. Вся она розовая. Запах пота наполняет комнату.

Он похож на запах стриженной травы за окном, и я убеждаю себя, что лучше глубоко не дышать, а то тоже растолстеешь. Мы поднимаемся, чтобы уйти и дать ей возможность распаковать вещи, она благодарит за все, и уже в дверях до меня снова доносится прерывистое фырканье, ее нервный смех. Я зачем-то оборачиваюсь и кошусь на нее с порога, а она выкатывает на меня свои шары для гольфа.

— Я смотрю, ты у нас молчун, да? — говорит она.

И после этого мне еще труднее придумать, что бы сказать в ответ. Поэтому я только улыбаюсь и сбегая вниз по ступенькам.

Внизу моя очередь помогать Кейт с ужином. Кейт высокая, худая и грустная. Прямая противоположность Дженни. Когда у меня будут девушки, они будут такие, как Кейт. Хотя она очень бледная, несмотря на лето. И волосы у нее необычного цвета. Однажды я слышал, как Сэм сказал, что они цвета коричневых конвертов. Сэм — один из приятелей Питера, тоже здесь живет; он хотел перенести свои вещи в комнату Кейт, когда Хосе вынес оттуда свои. Но Кейт немного заносчивая, и Сэм ей не нравится, потому что он жутко громкий. Если бы Сэм въехал в комнату Кейт, он бы не давал спать Элис, ее маленькой дочке. Когда Кейт и Хосе в одной комнате, я всегда за ними

наблюдаю, чтобы узнать, смотрят ли они друг на друга, но они никогда не смотрят. Один раз в прошлом апреле я пошел кое-что забрать из комнаты Кейт, и они с Хосе спали в постели. Родители Хосе из Испании, и он очень смуглый. Кейт спала на спине, откинув руку, а Хосе спал на ее руке, свернувшись калачиком сбоку. Они были без пижам, и простыня доходила до пояса. Такой черный и такая белая. Я долго стоял в ногах кровати, наблюдая за ними. Точно в чью-то тайну проник. Потом Кейт открыла глаза, увидела меня и тихо попросила уйти. Странно все-таки, что раньше они вот так лежали, а теперь даже не смотрят друг на друга. Я бы не смог не смотреть, если бы полежал на руке какой-нибудь девочки. Кейт не любит готовить. Ей приходится все время следить, чтобы Элис не тянула в рот ножи и не хваталась за кипящие на плите кастрюли. Ей больше нравится прихорашиваться и куда-нибудь уходить или часами болтать по телефону — мне бы тоже это нравилось, будь я девчонкой. Однажды она вернулась очень поздно, и моему брату Питеру пришлось укладывать Элис спать. Кейт всегда выглядит грустной, когда обращается к Элис, а когда объясняет, что той следует сделать, говорит тихо-тихо, как будто у нее совсем нет желания все это объяснять. Так же и со мной: это даже разговором не назовешь. Когда на кухне Кейт замечает мою спину, она ведет меня в нижнюю ванную и мазет куском ваты, пропитанным каламиновым лосьоном. Я вижу ее отражение в зеркале — никаких эмоций на лице. Она издает звук сквозь зубы — полусвист-полушип, — а когда ей надо подставить под свет другую часть моей спины, просто передвигает меня за руку. Она спрашивает про новенькую наверху и молчит, когда я говорю: «Жутко толстая и смех у нее дурацкий». Я режу для Кейт овощи и накрываю на стол. Потом иду к реке проверить свою лодку. Я купил ее на деньги, полученные после смерти родителей. Когда подхожу к мосткам, солнце уже закатилось, и на черной воде красные полосы, как лоскуты тканей с чердака. Сегодня река спокойна, вечер теплый и безветренный. Я не отвязываю лодку — спина еще слишком болит от солнца, чтобы грести. Просто влезаю в нее и сижу, покачиваясь на бесшумных волнах, глядя, как исчезают в черной воде красные лоскуты, и прикидывая, не передышал ли я сегодня запахом Дженни.

Когда я возвращаюсь, все уже за столом. Дженни сидит рядом с Питером и не реагирует на мое появление. Даже когда я усаживаюсь

напротив нее, не поднимает глаз. Она такая большая по сравнению со мной, а скрючилась над тарелкой, будто хочет стать маленькой и невидимой, и мне ее по-своему жалко, и хочется с ней заговорить. Но я не могу придумать о чем. Правда, в этот вечер, похоже, никто не может: все сосредоточенно орудуют ножами и вилками у себя в тарелках и лишь изредка просят что-нибудь передать. Обычно, когда мы едим, бывает не так, обычно что-нибудь происходит. Но сейчас здесь Дженни, она тише всех и больше всех и не поднимает глаз от тарелки. Сэм откашливается и смотрит на наш край стола, на Дженни, и все поворачиваются к ней, а она так и сидит, затаившись. Сэм еще раз откашливается и говорит:

— Где ты жила раньше, Дженни?

Поскольку все молчат, вопрос звучит слишком резко, будто Сэм в канцелярии заполняет ее анкету. И Дженни, продолжая смотреть в тарелку, отвечает:

— В Манчестере.

Потом она смотрит на Сэма.

— В квартире.

Она фыркает, видимо, от смущения, что все мы слушаем и смотрим, и снова прячет голову в тарелку, а Сэм говорит что-то вроде: «А-а, понятно» — и думает, о чем бы еще спросить. На втором этаже раздается плач Элис, и Кейт идет и приносит ее вниз, усаживает на колени. Элис перестает плакать и начинает показывать на нас рукой, на всех сидящих за столом по очереди, выкрикивая: «У-у, у-у, у-у», — и так по кругу, а мы жуем и молчим. Она как будто стыдит нас за неумение придумать тему для разговора. Кейт грустно просит ее перестать — она всегда грустит, когда рядом Элис. Иногда я думаю, это из-за того, что у Элис нет отца. Она ни капельки не похожа на Кейт, белокурая, и уши торчком. Год или два назад, когда Элис была совсем маленькая, я считал, что ее отец — Хосе. Но у него волосы черные, и Элис его мало интересуется. Когда все доедают и я помогаю Кейт собирать тарелки, Дженни предлагает взять Элис к себе на колени. Элис все еще громко укает, показывая рукой на разные вещи в комнате, но, оказавшись на коленях Дженни, сразу замолкает. Наверное, потому, что таких огромных коленей она никогда раньше не видела. Мы с Кейт приносим фрукты и чай, и, пока чистим апельсины и бананы, едим яблоки с яблони из нашего сада, разливаем чай и пускаем по кругу

молоко и сахар, все разговаривают и смеются, как обычно, будто и не было никакой неловкости. А Дженни не дает скучать Элис у себя на коленях, подбрасывая ее, как на лошади, изображая рукой птиц, которые слетают к ней на живот, показывая фокусы с пальцами, так что Элис визжит от восторга и просит повторить еще и еще. Я первый раз вижу, чтоб она так смеялась. А потом Дженни замечает взгляд Кейт, которая наблюдает за их игрой с таким выражением, будто смотрит телик. Дженни относит Элис к матери, точно вдруг застыдившись того, что так долго с ней играла и что им было так весело. Оказавшись на другом конце стола, Элис кричит: «еще, еще, еще», и так продолжается минут пять, пока мать не уносит ее в постель.

Рано утром по просьбе брата я отношу кофе к Дженни в комнату. Когда я вхожу, она уже одета и сидит за столом, наклеивая марки на конверты. Она мне кажется меньше, чем вчера. Окно настежь распахнуто, и пахнет утренней свежестью, и чувствуется, что встала Дженни давно. В окне видна река, петляющая между деревьями, ясная и безмятежная на солнце. Меня тянет к ней, тянет проверить лодку до завтрака. А Дженни хочет поговорить. Она усаживает меня на кровать и просит рассказать о себе. Но вопросов не задает, а я не знаю, с чего обычно начинают рассказ о себе, поэтому просто сижу и смотрю, как она пишет адреса на конвертах и отпивает кофе. Но я не против, мне нравится в комнате у Дженни. Она повесила на стену две картинки. Одна в рамочке — это фотография обезьяны в зоопарке, идущей по ветке вверх ногами с детенышем, который вцепился ей в живот. Про зоопарк ясно, потому что в нижнем углу видна бейсболка служителя и часть его лица. Другая — цветной снимок, вырезанный из журнала: двое детей бегут по берегу моря, держась за руки. Солнце садится, и на снимке все ярко-красное, даже дети. Это очень хороший снимок. Она заканчивает надписывать конверты и спрашивает, где моя школа. Я рассказываю про новую, в которую пойду после каникул, — большую общеобразовательную в Рединге. Правда, я там ни разу не был, поэтому рассказывать особенно нечего. Она замечает, что я снова смотрю в окно.

— На речку хочешь?

— Да, лодку проверить.

— Можно с тобой? Покажешь мне реку?

Я стою у дверей, дожидаясь, пока она втиснет круглые розовые ступни в маленькие плоские туфли и расчешет свои коротко стриженные волосы щеткой с зеркальцем на обратной стороне.

Мы идем по лужайке к калитке в дальнем конце сада и по тропинке через заросли высокого папоротника. На полпути я останавливаюсь послушать пение обыкновенной овсянки, и Дженни говорит, что не различает голоса птиц. Большинство взрослых никогда не признаются, если они чего-то не знают. Поэтому, пройдя еще немного до поворота к мосткам, мы останавливаемся под старым дубом, чтобы Дженни послушала, как поет черный дрозд. Я знаю, что он на дубе и всегда поет в это время суток. Но стоит нам подойти, как дрозд замолкает, и надо притаиться и ждать, пока он начнет заново. Прислонясь к полумертвому стволу, я слушаю, как заливаются на других деревьях другие птицы и как совсем рядом за поворотом плещется река, омывая мостки. Но у нашего дрозда перекур. От необходимости стоять неподвижно Дженни начинает нервничать и изо всех сил сжимает пальцами ноздри, чтобы не фыркнуть. Мне так хочется, чтобы она услышала черного дрозда, что я кладу свою ладонь поверх ее ладони, и тогда Дженни убирает от лица руку и улыбается. Сразу же вслед за этим черный дрозд затягивает длинную замысловатую трель. Он просто ждал, когда мы приготовимся. Мы выходим на мостки, и я показываю ей свою лодку, привязанную к свае. Это гребная лодка, зеленая снаружи и красная внутри, как плод. В это лето я прихожу к ней каждый день — погрести, подкрасить, протереть пыль или просто посмотреть. Однажды я отплыл на десять километров против течения, а потом бросил весла, и к концу дня река сама принесла меня обратно. Мы сидим на краю мостков, глядя на мою лодку, на реку и на деревья на другой стороне. Потом Дженни смотрит по ходу течения и говорит:

— Лондон в ту сторону.

Лондон — это страшная тайна, которую надо от реки сохранить. Она пока не знает о нем, протекая мимо нашего дома. Поэтому я только киваю и ничего не говорю. Дженни спрашивает, можно ли ей посидеть в лодке. Меня пугает, как бы она не оказалась слишком тяжелой. Но сказать об этом, конечно, нельзя. Я наклоняюсь с мостков и тяну за канат, чтобы Дженни смогла залезть. Она залезает, и лодка скрипит и раскачивается. Но не проседает ниже, чем обычно, и,

убедившись в этом, я тоже запрыгиваю в нее, и мы смотрим на реку с иной высоты, и видим, какая она могучая и древняя. Мы сидим и долго болтаем. Сначала я рассказываю, как два года назад мои родители погибли в автокатастрофе и как мой брат придумал превратить наш дом в нечто вроде коммуны. Сперва он собирался поселить там больше двадцати человек. Но теперь ему, по-моему, хватает и восьми.

Потом Дженни рассказывает, как была учительницей в большой школе в Манчестере, где дети вечно над ней смеялись, потому что она толстая. Но говорит об этом легко. Вспоминает смешные случаи. После истории про то, как дети заперли ее в книжном шкафу, мы так хохочем, что лодка качается из стороны в сторону и по реке бежит рябь. На этот раз Дженни смеется легко и ритмично, а не натужно и с фырканьем, как вчера. По дороге назад она распознает голоса двух черных дроздов, а пересекая лужайку, слышит третьего. Я только киваю. Вообще-то это певчий дрозд, а не черный, но я слишком голоден, чтобы объяснять разницу.

Три дня спустя я слышу песенку Дженни. Я во дворе собираю велосипед из разных деталей, а ее голос доносится из открытого окна кухни. Она готовит обед и присматривает за Элис, пока Кейт ходит по знакомым. Слов Дженни не знает, мелодия полувеселая-полугрустная, и она напевает для Элис, как старая хриплая негритянка. Новый диктор с утра ра-ри-ра, ра-ра-ра, р-ра, новый диктор с утра ра-ри-ра, ра-ра-ра, р-ра, новый диктор с утра, Расскажи про дожди и ветра. После обеда я катаю ее на лодке по реке, и она распевает другую песенку с той же мелодией, но без слов. Ра-ри-ра, ра-ра-а-а, йе-е-е-е-е. Она разводит руки в стороны и закатывает увеличенные очками глаза, точно поет мне серенаду. Еще через неделю песенки Дженни разносятся по всему дому, иногда с обрывками куплетов, но чаще без слов. Львиную долю времени она проводит на кухне, где в основном и поет. Каким-то чудом там теперь больше места. Она отскребает краску с окна, которое смотрит на север, чтобы было светлее. Никому непонятно, зачем его вообще замазали. Она выносит на улицу старый стол, и оказывается, что он уже давно всем мешал. Закрашивает белой краской одну стену, отчего кухня выглядит просторнее, а потом расставляет по местам кастрюли и тарелки — их больше не надо повсюду искать, и даже я до всего могу дотянуться. В такой кухне приятно просто посидеть, когда больше нечем заняться. Дженни сама

печет хлеб и торты — раньше мы ходили за этим в магазин. На третий день после ее появления я сплю в чистой постели. Она берет простыни, которые обычно не меняются все лето, и уносит стирать вместе почти со всей моей одеждой. Однажды она тратит полдня на приготовление карри, и вечером я говорю ей, что ничего вкуснее за последние два года не ел. Когда остальные со мной соглашаются, Дженни нервничает и смеется с фырканьем. Я вижу, что фырканье им неприятно, все отворачиваются, будто оно настолько противно, что даже стыдно смотреть. Но я к ее смеху привык и замечаю его только потому, что все отвернулись. После обеда мы почти всегда ходим на реку, я учу ее грести и слушаю про то, как она была учительницей и как работала в супермаркете, где каждый день видела стариков, воровавших ветчину и сливочное масло. Я учу ее узнавать птиц по голосам, но она узнает только одну, самую первую — черного дрозда. У себя в комнате она показывает мне фотографии своих родителей и брата и говорит:

— Я одна в семье такая толстуха.

Я тоже показываю ей фотографии родителей. Одна сделана за месяц до смерти: они спускаются по лестнице, держась за руки, и смеются над чем — то, что не попало в кадр. Смеются они над братом, который специально корчит рожи, чтобы их рассмешить, а фотографирую я. Фотоаппарат мне подарили на мое десятилетие, и это один из первых снимков. Дженни долго смотрит на фото и говорит, что по маме видно, какая она была хорошая, и я вдруг вижу маму не как маму, а просто как женщину на фотографии, незнакомую женщину, и впервые издалека, не она смотрит на меня изнутри, а я на нее снаружи, или не я, а Дженни, или кто-то еще. Дженни берет у меня снимок и прячет вместе с другими в коробку из-под обуви. Пока мы спускаемся, она начинает длинную историю про то, как один ее приятель поставил пьесу с необычным и спокойным финалом. Чтобы зрители его не проспали, приятель попросил Дженни захлопать в конце, но Дженни чего-то там перепутала и захлопала на пятнадцать минут раньше, во время паузы; все подхватили, и финал был испорчен аплодисментами особенно громкими оттого, что никто ничего не понял. Очевидно, рассказ про пьесу должен отвлечь меня от мыслей о маме, и он действительно отвлекает.

Кейт все чаще уезжает к друзьям в Рединг. Однажды утром я сижу на кухне, а она появляется в модном кожаном костюме и высоких кожаных сапогах. Пристраивается напротив и ждет, когда спустится Дженни, чтобы сказать ей, чем кормить Элис и во сколько она вернется. Я вспоминаю другое утро почти два года назад, когда Кейт тоже пришла на кухню вся разодетая. Тогда она села за стол, расстегнула блузку и принялась сцеживать пальцами голубовато-белое молоко в бутылку сначала из одной груди, потом из другой. Меня как будто и вовсе не заметила.

— Ты зачем это делаешь? — спросил я.

— Оставлю Джанет для Элис, — сказала она. — Мне надо уйти.

Джанет — это негритянка, которая с нами жила. Странно было смотреть, как Кейт доит себя в бутылку. Я тогда подумал, что мы тоже животные, только в одежде, и занимаемся очень странными вещами, вроде как обезьяны за чаепитием. Просто мы привыкаем к этим вещам по большей части. Интересно, Кейт тоже думает про тот раз, сидя сегодня напротив меня на кухне. На губах у нее оранжевая помада, и волосы забраны в хвост, и от этого она кажется еще стройнее, чем обычно. Помада у Кейт флюоресцентная, как дорожный знак. Каждую минуту она поглядывает на наручные часы, и кожа на ней скрипит. Она похожа на красивую инопланетянку. Наконец спускается Дженни в огромном старом лоскутном халате; она зевает, потому что недавно проснулась, и Кейт тихой скороговоркой объясняет про еду для Элис. Такое впечатление, что ей очень грустно говорить о таких пустяках. Кейт хватается сумку и выбегает из кухни, бросая на ходу: «Пока!» — через плечо. Дженни садится за стол и пьет чай — ни дать ни взять, дородная чернокожая нянька, которую оставили дома присматривать за дочкой богатой дамы. «Твой папуля богат, а мамуля прелестна, ра-ра-ри-па-па-па, засыпай»^[18]. Остальные тоже общаются с ней немного странно. Будто ее ничто не касается и она им не чета. Привыкли к ее обедам и тортам. Воспринимают как должное. Иногда по вечерам Питер, Кейт, Хосе и Сэм садятся в кружок и курят гашиш из самодельного кальяна, включив магнитофон на полную громкость. Дженни обычно поднимается к себе в комнату, ей не хочется с ними быть, когда они этим занимаются, и я вижу, что их это злит. Она хоть и девушка, но не такая красивая, как Кейт или Шэрон — подружка моего брата. Еще она не носит джинсы и индийские рубашки в отличие от

них — наверное, не может найти своего размера. Дженни носит платья в цветочек и простые вещи, как мама или служащая на почте. А когда нервничает и смеется своим особенным смехом, про нее думают, будто она с приветом, — это видно по тому, как все отворачиваются. И к ее толщине тоже никак не привыкнут. За глаза Сэм то и дело называет ее «Батончик колбасы», и это всегда сопровождается взрывом смеха. Не то чтобы с ней не дружат, этого не скажу, а просто держат дистанцию, только мне трудно показать это на примере.

Однажды мы плывем по реке, и она спрашивает про гашиш.

— Что ты обо всем этом думаешь? — говорит она, и я отвечаю, что брат не разрешает курить с ними, пока мне нет пятнадцати.

Я знаю, что она в принципе против гашиша, но больше мы о нем не говорим. В тот же день я фотографирую ее у входа на кухню, она держит на руках Элис и немного щурится на солнце. Потом она фотографирует меня на велосипеде, собранном из разных деталей. Я еду на нем по двору без рук.

Трудно сказать, в какой именно момент Дженни заменяет Элис маму. Поначалу она за ней только присматривает, когда Кейт уходит в гости к знакомым. Но Кейт уходит все чаще, почти каждый день. Поэтому мы втроем — Дженни, Элис и я — проводим много времени у реки. Рядом с мостками травянистый склон, а у самой воды — узкая полоска песка метра полтора шириной. Дженни сидит на траве, играя с Элис, а я занимаюсь с лодкой. Когда мы сажаем Элис в лодку первый раз, она визжит, как поросенок. Не доверяет реке. Долго отказывается подойти к полоске песка, а когда все-таки подходит, неотрывно смотрит на кромку воды, чтобы река к ней не подкралась. Потом, видя, как Дженни машет рукой из лодки и что ей не страшно, перестает упрямиться, и мы переплываем на другую сторону. Элис не скучает по Кейт — она любит Дженни, которая поет отрывки из знакомых ей песенок и постоянно что-нибудь рассказывает, сидя на траве у реки. Элис ни слова не понимает, но ей нравится слушать звук голоса Дженни. Стоит Дженни замолчать, как Элис показывает на ее губы и говорит: «Еще, еще». Кейт всегда такая тихая и грустная, что Элис не привыкла слышать обращенные к ней голоса. Однажды Кейт уходит вечером и возвращается только утром. Элис сидит на коленях у Дженни, размазывая завтрак по столу, и тут вбегает Кейт, хватая ее на

руки, стискивает и повторяет как заведенная, не давая никому ответить:

— С ней все в порядке? С ней все в порядке? С ней все в порядке?

После обеда Элис снова при Дженни, потому что Кейт опять нужно куда-то уйти. Я в коридоре, ведущем в кухню, и слышу, как она говорит Дженни, что вернется под утро, а несколько минут спустя вижу ее идущей по дороге с чемоданчиком. Вернувшись через два дня, она только просовывает голову в дверь кухни, чтобы взглянуть на Элис, и сразу же идет в свою комнату. Мне не очень-то нравится, что Элис постоянно с нами. На лодке с ней особо не покатаешься. Через двадцать минут она теряет доверие к воде и хочет обратно на сушу. И если мы решаем где-нибудь прогуляться, Элис приходится нести на руках. Из-за этого я не могу показать Дженни свои любимые места вдоль реки. К вечеру Элис здорово куксится, ноет и плачет без повода — от усталости. Мне надоедает проводить столько времени с Элис. Кейт целыми днями не выходит из комнаты. Как-то я заношу ей чай и обнаруживаю, что она спит на стуле. Из-за Элис мы с Дженни больше не можем поболтать как вначале. Не потому что Элис слушает, а потому что Дженни все время ею занята. Она и впрямь ни о чем больше не думает, и кажется, ей, кроме Элис, никто не нужен. Как-то вечером мы все сидим в гостиной после ужина. Кейт в прихожей, долго ругается с кем-то по телефону. Закончив, она приходит, шумно садится и пробует читать. Но я вижу, что она больше злится, чем читает. Некоторое время все молчат, потом наверху Элис начинает плакать и звать Дженни. Дженни и Кейт одновременно поднимают головы и встречаются глазами. Потом Кейт встает и выходит из комнаты. Мы все делаем вид, что читаем, хотя на самом деле слушаем шаги Кейт на лестнице. Мы слышим, как она входит в комнату Элис, которая прямо над нами, и как Элис все громче и громче требует Дженни. Кейт спускается по лестнице, на этот раз быстро. Когда она входит в комнату, Дженни поднимает глаза, и они опять смотрят друг на друга. Все это время Элис не переставая зовет Дженни. Дженни встает и протискивается в дверь мимо Кейт. Они не произносят ни слова. Все остальные — Питер, Сэм, Хосе и я — продолжают делать вид, что читают, слушая шаги Дженни наверху. Плач смолкает, и она долго не спускается. А когда приходит, Кейт сидит на стуле,

уткнувшись в журнал. Дженни тоже садится, и никто не поднимает глаз, все молчат.

Внезапно лето заканчивается. Однажды утром Дженни приходит в мою комнату, снимает с постели белье и собирает разбросанную одежду. Перед школой все должно быть постирано. Потом она просит прибраться, вынести старые комиксы, и тарелки с чашками, скопившиеся под кроватью за лето, и мусор, и банки с красками, которые у меня для лодки. Она обнаруживает в гараже небольшой стол, и я помогаю внести его в комнату. Это будет парта для домашних заданий. Она ведет меня в поселок, где обещает сюрприз, но не говорит какой. Когда мы приходим, оказывается, что это стрижка. Я хочу улизнуть, но она кладет руку мне на плечо.

— Не глупи, — говорит она. — Разве можно идти в школу в таком виде. Тебя выгонят в первый же день.

И я подставляю голову парикмахеру, чтобы он сбрил с нее целое лето, а Дженни сидит сзади и смеется над моим хмурым взглядом из зеркала. Она берет денег у моего брата Питера, и мы едем на автобусе в город покупать школьную форму. Странно, что теперь Дженни главней меня после всех наших походов на реку. Хотя, в сущности, я не возражаю, с чего бы мне ей перечить. Она ведет меня по главным торговым улицам к магазинам обуви и одежды, покупает красный блейзер и кепку, две пары черных кожаных ботинок, шесть пар серых носков, две пары серых брюк и пять серых рубашек, постоянно спрашивая: «Эти тебе нравятся? А эти?» — и поскольку я не разбираюсь в оттенках серого, соглашаюсь на то, что она находит наилучшим. Через час с покупками покончено. Вечером она выгребает из ящичков мою коллекцию камней, освобождая место для новых вещей, и упрашивает надеть всю форму. Внизу все хохочут, особенно когда я нахлобучиваю красную кепку. Сэм говорит, что я похож на межгалактического почтальона. Три дня подряд перед сном она заставляет меня тереть колени щеткой для ногтей, чтобы выскрести грязь из-под кожи.

Наконец в воскресенье, за день до начала школы, мы с Дженни и Элис в последний раз идем к лодке. Вечером Питер и Сэм поволокнут ее по тропинке и через лужайку на зиму в гараж, а я буду им помогать. Потом мы соорудим другие мостки, более надежные. Этим летом мы катаемся в последний раз. Дженни усаживает Элис и забирается сама,

а я придерживаю лодку с мостков. Когда я отталкиваюсь веслом, Дженни затягивает одну из своих песен. Приди, И-исус, сойди с небес, приди, И-исус, сойди с небес, приди, И-исус, сойди с небес, ля-а, ля-ля-ля-ля, ля-ля. Элис стоит между коленей Дженни и смотрит, как я гребу. Ей смешно, что я наклоняюсь и откидываюсь. Она думает, это такая игра: быть то рядом с ее лицом, то поодаль. Станный получается день. Когда Дженни заканчивает свою песню, мы долго плывем молча. Только Элис смеется надо мной. Вокруг такая тишь, что смех разносится над водой в никуда. Солнце какое-то белесое, точно перегорело к концу лета, в деревьях по берегам ни ветерка, и птиц не слышно. Даже весла падают в воду бесшумно. Я гребу против течения спиной к солнцу, но оно такое слабое, что не греет, такое слабое, что даже теней от него нет. Впереди под дубом стоит старик, удит рыбу. Пока мы проплываем мимо, он поднимает голову и глядит на нас в лодке, а мы глядим на него на берегу. Его лицо без выражения. И наши лица без выражения, мы не здороваемся. Во рту у старика длинный стебель, и, когда мы удаляемся, он вынимает его и тихо сплевывает в реку. Ладонь Дженни рассекает гущу воды за бортом, а сама она смотрит на берег с таким видом, точно он ей снится. Поэтому я начинаю думать, что на самом-то деле ей неохота быть со мной на реке. И что пришла она только из-за всех наших предыдущих катаний, чтобы не портить последний раз. Как-то мне грустно от этой мысли и труднее грести. А потом, минут через тридцать, она смотрит на меня и улыбается, и сразу ясно, что все я выдумал про ее неохоту, а она начинает говорить про лето и сколько всяких вещей мы успели сделать. Она хороший рассказчик, и все выглядит лучше, чем на самом деле. И наши долгие прогулки, и как мы плавали у самого берега из-за Элис, и как я учил ее грести и различать голоса птиц, и как мы вставали, пока все спят, чтобы успеть прокатиться на лодке до завтрака. Ее возбуждение передается мне, и я тоже вспоминаю разные истории: про то, как однажды мы чуть не увидели свиристеля или как прятались вечером в кустах, поджидая, когда барсук выйдет из норки. Вскоре нам становится весело от того, какое отличное получилось лето и сколько мы всего сделаем на следующий год, и наши крики и хохот вспарывают неподвижный воздух. А потом Дженни говорит:

— Только завтра ты наденешь красную кепку и отправишься в школу.

В том, как она это произносит — будто всерьез, будто отчитывая, грозя указательным пальцем, — есть что-то невыносимо смешное. Кажется, ничего смешнее я в своей жизни не слышал. Сама мысль, что вместо всех этих летних дел будут только кепка и школа. Мы начинаем хохотать и, кажется, никогда не остановимся. Я отпускаю весла. Наши визг и кудактанье становятся все громче, потому что нет ветерка, который разнес бы их над водой, воздух неподвижен, и шум накапливается в лодке. Стоит нам столкнуться взглядами, как накатывает новый приступ, сильнее и громче предыдущего, пока не начинает болеть в боках, и больше всего на свете я хочу перестать. Элис принимается плакать: ей непонятно, что происходит, а нам от этого еще смешнее. Дженни свешивается за борт, чтобы не смотреть на меня. Ее смех делается плотнее и суше, короткие сдавленные фырчки, точно кусочки камня, рвутся из горла. Ее большое розовое лицо и большие розовые руки трясутся от натуги заглотнуть воздух, но он продолжает вырываться из нее по каменным кусочкам. Она перегибается обратно в лодку. Рот растянут в улыбке, но в глазах испуг и напряжение. Она падает на колени, держась за живот от смеха, и сбивает с ног Элис. Лодка переворачивается. Она переворачивается, потому что Дженни валится на бок, потому что Дженни большая, а лодка маленькая. Все происходит быстро, щелкает, как затвор объектива на моем фотоаппарате, и вот я на темно-зеленом дне, упираюсь в холодный мягкий ил тыльной стороной ладони и чувствую водоросли у себя на лице. По-прежнему слышу смех — каменные капли, оседающие сквозь толщу воды на дно. Но когда отталкиваюсь и плыву к поверхности, рядом никого нет. Я выныриваю, и на реке тьма. Долго был под водой. Что-то касается головы, и я догадываюсь, что нахожусь под перевернутой лодкой. Подныриваю и выплываю с другой стороны. Долго восстанавливаю дыхание. Оплываю лодку вокруг, выкрикивая имена Дженни и Элис. Опускаю рот в воду и выкрикиваю их имена. Но никто не отвечает, на поверхности гладь. Я один на реке. Уцепившись за край лодки, жду, когда они появятся. Долго жду, и течение относит меня и лодку, и смех продолжает звучать в голове, и на воде желтые отблески от готовящегося к закату солнца. Время от времени крупная дрожь пробегает по ногам и спине, но в основном я спокоен, держусь за зеленое днище, и в голове пустота, то есть вообще ничего, гляжу на реку, жду, когда Дженни и Элис

вынырнут, а желтые отблески пропадут. Я проплываю мимо того места, где старик удил рыбу, и кажется, что это было очень давно. Старика больше нет, а на месте, где он стоял, валяется бумажный пакет. Я так устаю, что закрываю глаза и вижу себя дома, в постели, за окном зима, и мама заглядывает в комнату пожелать спокойной ночи. Она выключает свет, и я соскальзываю с лодки в реку. Потом, очнувшись, зову Дженни и Элис и смотрю на реку, и глаза закрываются, и мама заглядывает в комнату, желает спокойной ночи, гасит свет, и я опять под водой. Так продолжается долго, и я перестаю звать Дженни и Элис, а просто держусь за днище и плыву, и течение меня несет. Вижу место на берегу, которое когда-то было хорошо мне знакомо. Узкая полоска песка, склон, поросший травой, мостки. Желтые отблески растворяются в реке, и я отпускаю лодку. Ее несет дальше, к Лондону, а я медленно плыву по черной воде к мосткам.

Факер в театре

Пол был немыт, задники недокрашены, и много голых людей на сиене под прожекторами, чтобы не мерзли и чтобы пыль красиво висела в воздухе. Сесть было не на что, и они униженно перетапывались. Ни руки в карманы спрятать, ни сигарету закурить.

— Ты в первый раз?

Все в первый раз, но только режиссер знал об этом. Друзья обменивались фразами, тихими и обрывочными. Остальные молчали. С чего начинают разговор голые незнакомцы? Никто не знал. Мужчины-профессионалы (по профессиональной привычке) разглядывали друг друга по частям; все остальные (знакомые знакомых режиссера, пришедшие подработать) тайком косились на женщин. Джазмин прокричал с задних рядов партера, где он беседовал с художником по костюмам (прокричал с уэльской манерностью, присущей кокни):

— Все подружили, мальчики? Умнички.- (Никто не ответил.) — У кого встанет, удаляю без предупреждения. У нас приличное шоу.

Несколько женщин прыснули, мужчины-непрофессионалы отступили в тень, двое рабочих вынесли на сцену свернутый рулоном ковер.

— Поберегись, — сказали они, и все почувствовали себя еще более голо, чем раньше.

Мужчина в широкополой шляпе цвета хаки и белой рубашке настраивал магнитофон в оркестровой яме. Мотал с ухмылкой кассету. Готовились к сцене соития.

— Фонограмму, Джек! — сказал ему Джазмин. — Пусть сначала послушают.

Четыре больших динамика, укрыться негде.

Вам твердили, что втайне свершается половой акт,

А я говорю: как бы не та-ак!

Наше народонаселение

Имеет право на открытое, прямое, великое совокупление.

Фоном, нарастая, шли скрипки и военный оркестр, и вслед за куплетом начинался ликующий двухтактный марш с тромбонами,

малыми барабанами и гlockеншпилем. Джазмин подошел по проходу к сцене:

— Это ваш аккомпанемент, ребятки. Музыка — заебись.

Он расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Марш был написан им.

— Где Дейл? Дейла попрошу.

Из темноты выступила хореограф. На ней был стильный плащ, стянутый широким ремнем посередине. Узкая талия, темные очки и тугой пучок на макушке. При ходьбе она становилась похожа на ножницы. Не оборачиваясь, Джазмин обратился к мужчине, который собирался выскользнуть в дверь в глубине зала.

— Достань мне те парики, Гарри, душка. Достань хоть из-под земли. Не будет париков, не будет Гарри.

Джазмин уселся в первом ряду. Ладони домиком, ногу на ногу. Дейл поднялась на сцену. Встала в центре большого ковра, разложенного на полу, уперла в бок руку. Сказала:

— Девочки на корточки клином по пять с каждой стороны.

Она показала, где должна быть вершина, развела руками. Девочки присели у ее ног, и она стала их выравнивать, распространяя запах мускуса. Сделала клин глубоким, мелким, затем в форме подковы, затем полумесяца и снова мелким.

— Так хорошо, Дейл, — сказал Джазмин.

Своим острием (V) клин был направлен в глубь сцены. Дейл поменяла девушку в верхней точке на девушку с одного из краев. Она ничего не объяснила, просто взяла обеих под локоть и перетащила с одного места на другое. Они не видели ее глаз под очками и не всегда понимали, что должны делать. Одного за другим она подвела к каждой женщине по мужчине и, надавив на плечи, усадила напротив. Обойдя пары, соединила им ноги, выпрямила спины, закрепила в нужном положении головы и показала, как сцепиться руками. Джазмин закурил. На ковре, принесенном из вестибюля, десять пар образовывали клин.

Наконец Дейл сказала:

— По хлопку начинайте раскачиваться назад — вперед. Я буду задавать ритм.

Они задвигались как дети, играющие в качку на корабле. Режиссер отошел в глубь зала.

— Мне кажется, их надо сажать плотнее, дарлинг, иначе отсюда не разобрать.

Дейл сдвинула пары ближе. Теперь во время движения они почти соприкасались лобками. Оказалось непросто попадать в такт. Надо было практиковаться. Одна пара завалилась на бок, и девушка стукнулась головой об пол. Она потерла ушиб. Дейл подошла к ней и тоже потерла ее ушиб. Потом вернула пару в исходное положение. Джазмин подбежал по проходу.

— Попробуем с музыкой. Прошу, Джек. И помните, ребятаки, после куплета работаем на два такта.

Вам твердили, что втайне свершается половой акт...

«Ребятаки» задвигались, а Дейл забила в ладоши. Раз, два, три, четыре. Джазмин стоял в проходе посреди зала, скрестив руки. Потом расцепил их и закричал:

— Стоп. Достаточно.

Вдруг стало очень тихо. Пары, замерев, пялились в темноту, ослепленные светом. Джазмин медленно сошел по ступенькам и, приблизившись к сцене, сдержанно произнес:

— Знаю — трудно, но все-таки постарайтесь изобразить, что вам это занятие доставляет удовольствие. — Он повысил голос — Некоторым, кстати, доставляет. Половой акт все-таки, а не похороны. — Он понизил голос. — Давайте снова, и пободрее. Прошу, Джек.

Дейл выровняла пары, выбившиеся из строя, а режиссер снова поднялся по ступенькам. Было лучше, на этот раз, несомненно, лучше. Дейл подошла к Джазмину, не отрывая взгляда от сцены. Он опустил руку ей на плечо и улыбнулся, отразившись в очках.

— Дарлинг, получится. Все получится.

— Вон те двое с краю вообще отлично, — сказала Дейл. — Все бы так двигались, и я могла бы плевать в потолок.

Имеет право на открытое, прямое, великое совокупление.

Дейл захлопала, чтобы помочь им подстроиться под изменившийся ритм. Джазмин сел в первом ряду и закурил. Потом крикнул, обращаясь к Дейл:

— Те двое с краю...

Она приложила палец к уху, показывая, что не слышит, и направилась по проходу к нему.

— Те двое с краю, не слишком ли заторапливают, как по-твоему?

Они посмотрели вместе. Действительно, пара, которую Дейл только что похвалила, немного сбилась с ритма. Джазмин опять сложил ладони домиком. Дейл двинулась к сцене, уподобившись ножницам. Встав над ними, захлопала в ладоши.

— Раз-два, раз-два, — считала она.

Казалось, они не слышат ни Дейл, ни тромбонов, ни малых барабанов, ни гlockenspiel.

— Раз-два, — заорала Дейл. — Считать умеем?

И потом, обращаясь к Джазмину:

— Должно же у людей быть хоть какое-то чувство ритма.

Но Джазмин не услышал, потому что тоже орал:

— Стоп! Стоп! Выруби звук, Джек.

Все пары постепенно остановились, кроме той, что с краю. Теперь она была в центре внимания и раскачивалась со все возрастающей быстротой. Ритм там явно был, хоть и рваный.

— Бог ты мой, — сказал Джазмин. — Ебутся.

Он повернулся к рабочим сцены и крикнул:

— Разнимите их, слышите, и не улыбайтесь мне тут, если не хотите потерять работу.

Он повернулся к остальным парам и крикнул:

— Очистить сцену, получасовой перерыв. Нет, нет, подождите...

Он повернулся к Дейл и сказал вдруг осипшим голосом:

— Прости, дарлинг. Представляю, каково тебе сейчас. Гадость, мерзость, я виноват. Надо было их проверить вначале. Больше этого не повторится.

Он не договорил, а Дейл уже шла по проходу, точно распарывая его. Вскоре она исчезла. Те двое так и раскачивались в тишине. Только скрип половиц под ковром и сдавленные женские стоны. Рабочие стояли в растерянности.

— Растащите же их, — снова крикнул Джазмин.

Один из рабочих попробовал потянуть мужчину за плечи, но они скользили от пота, а больше ухватиться было не за что. Джазмин отвернулся, на глазах слезы. Невероятно. Остальные, радуясь передышке, окружили их и смотрели. Рабочий, который пытался тянуть за плечи, принес ведро воды. Джазмин высморкался.

— Не сходи с ума, — хрипло сказал он. — Сейчас уже сами закончат.

На этих словах пара довибрировала до коды. Они расцепились: женщина бросилась в примерную, а мужчина остался стоять. Джазмин поднялся на сцену, дрожа от сарказма.

— Ну что, Портной^[19], утолил свою похотушку? Полегчало?

Мужчина заложил руки за спину. Его член был липок и возбужден и опускался небольшими толчками.

— Да, спасибо, господин Кливер, — сказал мужчина.

— Как тебя зовут, моя радость?

— Факер.

Джек фыркнул из своей оркестровой ямы — он редко смеялся. Остальные закусали губы. Джазмин набрал в легкие воздуха.

— Значит, так, Факер: вали отсюда вместе со своим маленьким липким другом и лахудру Нелли прихвати. Надеюсь, найдете себе подходящую канаву.

— Непременно найдем, господин Кливер, спасибо.

Джазмин спустился в зал.

— Остальные, по местам! — сказал он.

Он сел. Бывали дни, когда хотелось выть, буквально в голос. Но вместо этого он достал сигарету и закурил.

Бабочки

Свой первый в жизни труп я увидел в четверг. А сегодня было воскресенье, и совершенно нечем заняться. Да еще жара. Никогда не думал, что в Англии бывает так жарко. Ближе к полудню решил пройтись. Стоял перед домом в нерешительности. Не знал, направо пойти или налево. На другой стороне улицы Чарли возился под машиной. Наверное, увидел мои ноги, потому что крикнул:

— Что новенького?

Никогда не знаю ответ на этот вопрос. Пару секунд понапрягался и в результате сказал:

— Сам-то как, Чарли?

Он выбрался из-под машины. Солнце было с моей стороны улицы, прямо ему в глаза. Он прикрыл их рукой и сказал:

— Куда собрался?

Опять я не знал. Воскресенье, заняться нечем, жара...

— Никуда, — сказал я. — Пройтись.

Я перешел через дорогу и заглянул под капот, хотя ничего не смыслю в моторах. Чарли пожилой и разбирается в технике. Чинит машины всем жителям нашей улицы и их знакомым. Он обогнул автомобиль, держа в обеих руках тяжелый ящик с инструментами.

— Умерла, значит?

Он начал протирать ветошью гаечный ключ, чтобы не стоять без дела. Ведь знал, что умерла, но хотел от меня услышать.

— Да, — сказал я. — Умерла.

Он ждал продолжения. Я привалился к машине сбоку. Крыша прямо кипятком — не притронуться. Чарли надоело ждать.

— Ты видел ее последним...

— Я был на мосту. Видел, как она бежит вдоль канала.

— Ты видел, как она...

— Нет, как упала в него, не видел.

Чарли спрятал гаечный ключ обратно в ящик. Он приготовился снова лезть под машину, давая понять, что разговор окончен. Я все еще раздумывал, в какую сторону пойти. Уже почти из-под днища Чарли сказал:

— Вот ведь несчастье.

Я пошел налево, потому что все равно уже стоял туда лицом. Прошел несколько улиц, держась между живыми оградами из бирючин и запаркованными вдоль них раскаленными машинами. Всюду был одинаковый запах готовки. Одна и та же программа по радио из распахнутых окон. Я видел кошек и собак, но очень мало людей, и всегда издали. Я снял пиджак и перекинул его через руку. Хотелось быть возле деревьев и воды. В этой части Лондона нет ни одного парка, только парковки. И еще канал, бурый, петляющий мимо фабрик и свалки металлолома, — канал, в котором утонула маленькая Джейн. Я дошел до библиотеки. Знал, что закрыта, но хотел посидеть на ступенях у входа. Посидел в тенистом прямоугольнике, который на глазах уменьшался. Ветер налегал горячими порывами. Вздвигал мусор у моих ног. Гнал по мостовой страницу из газеты «Дейли миррор». Потом вдруг стих, и я успел прочесть часть заголовка... «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ...» Вокруг не было ни души. Я услышал треньканье фургончика с мороженым за углом и понял, что уже давно хочу пить. Это был отрывок фортепьянной сонаты Моцарта. Вдруг он оборвался на полуноте, будто кто-то двинул ногой по магнитофону. Я быстро пошел по улице, но, когда повернул за угол, фургончик уже исчез. Через минуту я снова его услышал, но вдалеке.

На обратном пути я никого не видел. Даже Чарли ушел домой, и машины, которую он ремонтировал, больше не было. Я налил себе воды из-под крана на кухне. Хотя где-то читал, что стакан воды из лондонского водопровода до тебя уже пять раз пили. Привкус был металлический. Сразу напомнил стол из нержавеющей стали, на котором лежала девочка, ее труп. Скорее всего, столы в морге тоже моют водой из-под крана. Ее родители ждали меня к семи. Эту встречу с ними придумал не я, а один из полицейских — сержант, бравший у меня показания. Надо было не уступать, но он меня переубедил, испугал. Взял под локоть и не отпускал, пока я не согласился. Наверное, этому учат в школе для полицейских, чтобы дать им над нами власть. Он на меня насел у самого выхода и затащил в угол. Чтобы его стряхнуть, пришлось бы применить силу. Он говорил дружелюбно, энергично, хрипловатым шепотом.

— Ты последний, кто видел их девочку живой... — Он замешкался на последнем слове — И родители, пойми: конечно, они

хотят с тобой встретиться.

Меня испугали его инсинуации (в чем бы они ни заключались), а пока он держал мой локоть, у него была власть. Он слегка ужесточил хватку:

— Так я им передам, что ты будешь. Вы же почти соседи, если не ошибаюсь?

Кажется, я кивнул, отворачиваясь. Он улыбнулся и назвал время и место. И то хорошо — встреча, дело, чтоб не совсем уж пропащий день. Ближе к вечеру я решил принять ванну и одеться. Времени было вагон. Достал флакон одеколona, которым ни разу не пользовался, и чистую рубашку. Пока набиралась вода, разделся и рассмотрел себя в зеркало. Вид у меня подозрительный, знаю, потому что я человек без подбородка. Иначе с чего бы им вдруг меня подозревать в полицейском участке еще до того, как я сделал заявление. Я сообщил, что стоял на мосту и что видел с моста, как она бежит вдоль каната.

— Бывают же совпадения, а? — сказал сержант полиции. — Чтоб вы еще и на одной улице жили.

Подбородок и шея у меня слиты — это всех настораживает. У матери так же было. Только уйдя из дома, я понял, какая она жаба. Она умерла в пропитом году. Женщинам не нравится мой подбородок, они ко мне не подходят. Материн тоже не нравился, с ней никто не дружил. Она всюду разъезжала одна, даже во время отпуска. Каждый год отправлялась в Литлгемптон и сидела в шезлонге лицом к морю, сама по себе. Под конец стала злой и плоской, как гончая.

До прошлого четверга, пока я не увидел труп Джейн, у меня не было никаких особых мыслей о смерти. Раз видел, как задавили собаку. Как ей шею переехало колесом и глаза из орбит выскочили. На меня это не произвело впечатления. И на похороны матери я не пошел — от безразличия в основном и из-за отвращения к родственникам. Да и видеть ее среди цветов, мертвую, плоскую и серую, тоже не очень-то хотелось. Наверное, после смерти и я стану таким. Но тогда я еще не знал, как выглядят трупы. Увидишь — и невольно задумаешься про живых и мертвых. Меня провели вниз по каменным ступеням и через коридор. Я полагал, что морги строят отдельно, но этот был в офисном здании, семиэтажке. Мы оказались в подвале. Сверху доносился стук пишущих машинок. Вместе со мной спустились сержант и еще пара других, в штатском. Сержант пропустил меня в дверь, открывавшуюся

в обе стороны. Я не ожидал ее там увидеть. Не помню, чего ожидал: возможно, фото или где-нибудь расписаться. Я не успел мысленно подготовиться. Но там была она. И пять стоявших в ряд высоких столов из нержавеющей стали.

И лампы дневного света под зелеными абажурами из жести, свисавшие на длинных цепях с потолка. Стол с ней был самый ближний от двери. Она лежала на спине, ладони наружу, ноги вместе, рот широко открыт, глаза распахнуты, очень бледная, совсем тихая. Волосы по-прежнему слегка влажные. Красное платье как после стирки. От нее едва уловимо пахло каналом. Допускаю, что в этом не было ничего исключительного для того, кто навидался трупов, как, например, сержант. Я заметил небольшой синяк над ее правым глазом. Хотел потрогать, но почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Как продавец подержанных машин, мужчина в светлом пиджаке с напором сказал:

— Девять лет всего.

Никто не ответил, все смотрели на ее лицо. Сержант обогнул стол и подошел ко мне с какими-то бумагами.

— Ну, всё? — сказал он.

Мы прошли обратно по длинному коридору. Наверху я подписал бумаги, в которых говорилось, что переходил пешеходный мост рядом с железной дорогой и увидел девочку (позднее опознанную мной в подвале), бежавшую по тропе вдоль канала. Я отвернулся, а чуть позже увидел в канале что-то красное, но оно быстро скрылось под водой. Поскольку плавать я не умею, то привел полицейского, который долго смотрел на воду и сказал, что ничего не видит. Я оставил ему свои имя и адрес и ушел домой. Через полтора часа ее достали со дна экскаватором. Я подписал три копии заявления. После этого долго не мог уйти. Нашел в одном из коридоров пластмассовый стул и сел. Дверь напротив оказалась открыта, за ней был офис, и там две девушки печатали на машинках. Они заметили, что я на них посматриваю, и стали переговариваться и смеяться. Одна вышла с улыбкой и спросила, занимается ли мной кто-нибудь. Я сказал, что просто присел подумать. Девушка вернулась в комнату, перегнулась через стол и передала подруге. Теперь в их взглядах появилась тревога. Заподозрили в чем-нибудь, меня всегда подозревают. Я и правда присел подумать, но не про мертвую девочку в подвале. Я думал о ней

живой, а видел мертвой, но старался не сопоставлять. Так и просидел там весь вечер — никуда не хотелось идти. Девушки закрыли дверь своей комнаты. В конце концов все-таки пришлось уйти, потому что рабочий день кончился и здание запирали. Я вышел из него последним.

Одевался я не спеша. Погладил черный костюм — счел, что он будет уместен. Галстук выбрал голубой, чтобы с черным не перебарщивать. Потом, уже спустившись в подъезд, передумал. Поднялся и снял костюм, рубашку и галстук. Вдруг разозлился на себя за эти приготовления. С какой стати я так стремлюсь им понравиться? Надел старые брюки и свитер, в котором был раньше. Пожалел о принятой ванне и постарался смыть с шеи одеколон. Но был еще другой запах — послебанный, запах ароматического мыла. В четверг я тоже им мылся, и девочка это сразу заметила:

— От тебя цветами пахнет.

Я проходил мимо их крошечного палисадника, шел на прогулку. Даже не повернул головы. С детьми вообще стараюсь не разговаривать: мне трудно найти с ними правильную интонацию. Неприятна их прямота, коробит. Эту малявку я уже не раз видел раньше: иногда на улице за игрой (обычно одну), иногда рядом с Чарли. Она вышла за калитку и увязалась за мной.

— Ты куда? — сказала она.

И снова я не повернул головы в надежде, что ей наскучит за мной тащиться. К тому же я и сам не знал, куда иду.

Она опять спросила:

— Ты куда?

Я выдержал паузу и сказал:

— Не твое дело.

Она шла прямо за моей спиной, мне ее не было видно. Наверняка передразнивала походку, но я не обернулся.

— В магазин мистера Ватсона?

— Да, в магазин мистера Ватсона.

Она поравнялась со мной.

— Он же закрыт, — сказала она. — Сегодня среда.

На это я ничего не ответил. Проводив меня до угла нашей улицы, она сказала:

— Ну, правда, куда ты?

Я впервые повернул голову и присмотрелся. У нее было длинное утонченное лицо и огромные печальные глаза. Нежные каштановые волосы завязаны в хвостики красными лентами — под цвет красного ситцевого платья. Красота ее была почти зловещей, как на рисунках Модильяни.

— Не знаю, — сказал я. — Погулять.

— Возьми меня.

Я ничего не сказал, и мы вместе пошли в сторону торгового центра. Она тоже молчала и держалась чуть позади, точно ждала, когда я обернусь и отправлю ее обратно. В руках у нее была игрушка — у каждого ребенка в округе такая есть. Два твердых шарика на концах шнура, и они ими стучат друг о друга, держа шнурок посередине и быстро двигая кистью. Стук выходит как от футбольной трещотки. Думаю, она это делала, чтобы мне понравиться. И стало труднее ее прогнать. Вдобавок я уже несколько дней ни с кем не разговаривал.

Когда, переодевшись, я снова спустился вниз, было четверть седьмого. Родители Джейн живут через двенадцать домов на моей стороне улицы. Поскольку с приготовлениями было покончено на сорок пять минут раньше, я решил пройтись, чтобы убить время. Теперь улица была в тени. Я помедлил у двери, прикидывая оптимальный маршрут. Чарли был через дорогу уже под другой машиной. Он увидел меня, и пришлось подойти, хоть и без всякого желания. Чарли тоже не улыбнулся.

— Куда теперь?

Он со мной разговаривал как с ребенком.

— Дышу воздухом, — сказал я. — Вкушаю вечернюю прохладу.

Чарли любит быть в курсе уличных дел. Он тут всех знает, включая детей. Я и девочку часто с ним видел. В последний раз она подавала ему гаечный ключ. Чарли вбил себе в голову, что я виноват в ее смерти. Небось все воскресенье про это думал. Хотел услышать от меня, но не решался спросить напрямую.

— Значит, с родителями ее встречаешься? В семь?

— Да, в семь.

Чарли ждал продолжения. Я обошел автомобиль вокруг. Это был большой, старый, проржавевший «форд-зодиак» — других на нашей улице не держат. Он принадлежал семье пакистанцев, владевшей небольшим магазинчиком на углу. Почему — то они называли его «У

Ватсона». Обоих их сыновей избили местные скинхеды. Теперь они откладывали деньги, чтобы вернуться в Пешавар. Старик только о том и говорил, когда я заходил за покупками: как увезет семью домой от насилия и лондонской непогоды.

— Одна она у них была, — сказал Чарли из-за ватсоновской машины.

Он меня обвинял.

— Да, — сказал я. — Знаю. Такое горе.

Мы оба обошли машину вокруг. Потом Чарли сказал:

— В газете про это было. Читал? Пишут, что она у тебя на глазах туда упала.

— Ну, да.

— Что ж ты ее не спас?

— Не смог. Она утонула.

На этот раз я описал круг пошире, повернулся к нему спиной и медленно пошел прочь. Чувствовал на себе взгляд Чарли, но не обернулся, чтобы не подтвердить его подозрений.

Дойдя до угла, я сделал вид, что смотрю на пролетающий самолет, а сам покосился через плечо. Чарли стоял у машины, уперев руки в бока, не спуская с меня глаз. В ногах у него сидела большая черная кошка. Все это я увидел за долю секунды, а потом свернул. Было половина седьмого. Я решил пройтись до библиотеки, чтобы время не пропадало. Маршрут был тот же, что и днем. Но людей стало больше. Несколько ребят из Вест-Индии гоняли на улице в футбол. Их мяч подкатился ко мне, и я поставил на него ногу. Они стояли и ждали, пока один из младших мальчишек заберет мяч. Когда я подходил, они притихли и следили за мной не мигая. Но стоило мне пройти, как кто-то запустил камушек по асфальту к моим ногам. Не оборачиваясь и почти не глядя, я ловко остановил его подошвой. Это вышло случайно. Раздался смех, они захлопали и загикали, и в краткий миг моего триумфа я подумал, что мог бы подойти к ним и включиться в игру. Мяч вбросили, и они снова забегали. Миг был упущен, и я двинулся дальше. Сердце выпрыгивало от возбуждения. Даже дойдя до библиотеки и сев на ступенях, я чувствовал, как пульсирует кровь в висках. Такие возможности выпадают редко. Людей я встречаю мало, а говорю вообще только с Чарли и мистером Ватсоном. С Чарли — потому что он всегда на улице, когда я выхожу, и всегда заговаривает

первым, его не проскочишь. А с мистером Ватсоном — потому что хожу в его магазин за продуктами, хотя с ним приходится больше слушать, чем говорить. Гулять не одному — тоже редкая возможность, пусть и с малолеткой, увязавшейся за мной от безделья. Хотя в тот момент я об этом не думал, просто понравился ее искренний интерес ко мне, возникло влечение. Захотелось стать ее другом.

Но сначала было не по себе. Она шла чуть позади, гремя своей погремушкой, и, видимо, паясничала у меня за спиной, как всякий ребенок. Потом, когда мы вышли на главную торговую улицу, подошла сбоку.

— Почему ты не ходишь на работу? — спросила она. — Мой папа ходит каждый день, кроме воскресенья.

— Мне незачем ходить на работу.

— У тебя и так куча денег?

Я кивнул.

— Целая куча?

— Да.

— И ты бы мог что-нибудь мне купить, если б захотел?

— Если б захотел.

Она показала пальцем на витрину магазина игрушек.

— Одну из этих, пожалуйста, захоти, только одну, пожалуйста...

Она вцепилась мне в руку и жадно засучила ногами по тротуару, пытаясь подтащить ближе к входу. Меня давно никто так не тянул, с детства. По животу прошла ледяная дрожь, и ноги стали ватными. В кармане было немного денег, и я не видел причин, почему бы что-нибудь ей не купить. Велев дожидаться на улице, пошел внутрь и купил то, что она просила: маленького, розового, голого пупса из пластмассы. Стоило ей взять его в руки, как она потеряла к нему интерес. Немного погодя, все на той же улице, она стала кланчить мороженое. Встала в дверях магазина, дожидаясь, пока я подойду. За руку на этот раз не тянула. Конечно, я растерялся, не понимал, что происходит. Но был уже одурманен и ею, и теми чувствами, которые она во мне пробуждала. Дал ей денег на мороженое для нас обоих и разрешил самой выбрать. К подаркам она явно привыкла. Отойдя немного от магазина, я спросил как можно дружелюбнее:

— Разве тебя не учили говорить «спасибо», получая подарок?

Она окинула меня презрительным взглядом; вокруг тонких бледных губ след от мороженого:

— Нет.

Я спросил, как ее зовут. Хотел быть любезным.

— Джейн.

— А где же та кукла, что я тебе купил, Джейн?

Она посмотрела на свою руку:

— Осталась в кондитерской.

— Она тебе не нужна?

— Я ее забыла.

Я почти отправил Джейн обратно за куклой, но вдруг понял, что не хочу ее отпускать и что мы совсем рядом с каналом.

Канал — единственный поблизости водоем. Есть что-то особенное в прогулках у воды, даже когда она бурая и вонючая и течет на задворках фабрик. Фабрики заброшены, и у большинства зданий глухие стены. Можно пройти все два с половиной километра по тропе вдоль канала и никого не встретить. Тропа ведет мимо свалки металлолома. еще два года назад тихий старик приглядывал за горой этого хлама из своей жестяной лачуги. Возле нее был столб с цепью, на которой он держал огромную овчарку. От старости она уже даже не лаяла. Потом лачуга, старик и собака исчезли, а на ворота навесили амбарный замок. Постепенно местная ребятня разворотила окружавший свалку забор, а ворота так и остались. Свалка — единственная достопримечательность на протяжении двух с половиной километров — остальной путь пролегает вдоль фабричных стен. Но я люблю канал — там, у воды, перестаю чувствовать себя узником (в отличие от всех остальных мест в этой части города).

Пройдя некоторое время молча, Джейн опять спросила:

— Куда ты идешь? Где ты будешь гулять?

— Вдоль канала.

Она задумалась на минуту.

— Мне к каналу не разрешают.

— Почему?

— Потому.

Теперь она шла немного впереди. Белый след вокруг рта засох. Ноги у меня стали совсем ватные, и казалось, что я вот-вот задохнусь в испарениях плавящегося на солнце асфальта. Нужно было во что бы то

ни стало уговорить ее идти со мной к каналу. От одной мысли стало нехорошо. Я выбросил остаток мороженого и сказал:

— Я вдоль канала гуляю почти каждый день.

— Почему?

— Там так мирно... И можно столько всего увидеть...

— Чего всего?

— Бабочек.

Слово вырвалось раньше, чем я успел его остановить. Но она уже обернулась, в глазах вспыхнул интерес. Рядом с кананом бабочек нет и не может быть, они от вони бы перемерли. Ей не составит труда об этом догадаться.

— Какого цвета бабочки?

— Красные... желтые.

— А что еще там есть?

Я задумался.

— Есть свалка...

Она наморщила нос. Я быстро добавил:

— И лодки есть, лодки на канале.

— Настоящие?

— Еще бы не настоящие.

Это тоже вышло само собой. Она замедлила шаг, и я за ней.

— Ты никому не скажешь, если я пойду? — спросила она.

— Никому-никому, но ты должна держаться как можно ближе ко мне, когда мы спустимся к каналу, поняла?

Она кивнула.

— И вытри рот — он у тебя весь в мороженом.

Она рассеянно провела по губам тыльной стороной ладони.

— Иди сюда, я вытру.

Я притянул ее к себе, зацепив левой рукой за шею. Послюнил указательный палец на правой (жест, подсмотренный мной у других родителей) и провел им по ее губам. До этого я никогда не дотрагивался до чужих губ, не испытывал такого жгучего удовольствия. Оно было почти болезненным, распространилось от паха к груди и застряло там, как кулак, упершись изнутри в ребра. Я еще раз послюнил палец и почувствовал на кончике липкую сладость. Вновь провел по ее губам, но теперь она отстранилась.

— Больно, — сказала она. — Ты очень давишь.

Мы пошли дальше, она держалась рядом.

Спуск к тропе был на другом берегу канала, куда мы перешли по узкому черному мосту с высокими ограждениями. Джейн встала на цыпочки посреди и попыталась из-за них выглянуть.

— Подними меня, — сказала она. — Я хочу посмотреть на лодки.

— Их отсюда не видно.

Но я обвил ладонями ее талию и приподнял. Короткое красное платье задралось, оголив ягодицы, и я снова почувствовал кулак в груди. Она повернула голову и сказала через плечо:

— Река очень грязная.

— Она и должна быть грязной, — сказал я. — Это же канал.

На каменных ступенях, ведущих к тропе, Джейн почти прижалась ко мне. Даже как будто затаила дыхание. Обычно вода в канале течет на север, но сегодня был полный штиль. Поверхность сплошь в клоках желтой пены, но и она неподвижна, потому что ни ветерка. Изредка по мосту над нами проезжала машина и совсем издали доносился шум лондонских улиц. Не считая этого, на канале было совсем тихо. Из-за жары пахло сегодня сильнее — животной вонью, а не химической, видно, от желтой пены.

— Где бабочки? — шепотом спросила Джейн.

— Недалеко. Сначала надо пройти под двумя мостами.

— Я хочу назад. Хочу назад.

Мы были метрах в десяти от каменных ступеней. Она хотела остановиться, но я манил ее дальше. У нее не хватало смелости бросить меня и одной добежать до ступеней.

— Еще немного — и увидим бабочек. Красных, желтых, может, даже зеленых.

Я врал без зазрения совести, теперь было все равно. Она вложила свою руку в мою.

— А лодки?

— И лодки увидишь. Там, дальше.

Мы пошли, и я не мог думать ни о чем, кроме как о способах удержать ее рядом. В нескольких местах канал уходит в тоннели — под фабричными корпусами, шоссе и железной дорогой. Первым на нашем пути был тоннель, образованный трехэтажным зданием, соединявшим фабричные цеха на разных берегах. Здание пустовало,

как и вся фабрика, и нижние окна были выбиты. Перед входом в этот тоннель Джейн попятилась.

— Что это там? Давай не пойдем.

Она слышала, как вода капает с потолка тоннеля в канал, а эхо делало звук глухим и зловещим.

— Это же вода, — сказал я. — Смотри, его насквозь видно.

В тоннеле тропа стала совсем узкой, поэтому я пропустил Джейн вперед, придерживая за плечо. Ее бил озноб. В дальнем конце она вдруг остановилась и показала вниз пальцем. Там, куда доходил солнечный свет, в двух шагах от выхода, между кирпичей рос цветок. Потерянный одуванчик, нашедший горстку живой земли.

— Это мать-и-мачеха, — сказала она, сорвала его и заткнула в волосы за ухо.

— Раньше мне здесь цветы не попадались, — сказал я.

— Ну, как же, — сказала она. — Бабочкам нельзя без цветов.

Следующие четверть часа мы шли молча. Джейн заговорила только раз, снова спросив про бабочек. Она как будто немного привыкла к каналу и больше не держалась за руку. Я хотел дотронуться до нее, но не мог придумать как, чтобы не напугать. Хотел придумать, о чем бы заговорить, но в голове было пусто. Справа от нас тропа становилась шире. За следующим изгибом канала на огромном пространстве между фабрикой и складом располагалась свалка. В небе перед нами был черный дым, и, обойдя изгиб, я увидел, что свалка и дымит. Группа мальчишек стояла вокруг сооруженного ими костра. Наверняка шайка — все были в одинаковых синих куртках и коротко стриженные. Насколько я понял, они собирались заживо запечь кошку. Над ними в неподвижном воздухе висел дым, за ними громоздилась куча металлолома, подобно горе. Кошка была привязана за шею к столбу — тому же, у которого некогда на цепи сидела овчарка. Передние и задние ноги кошки были связаны вместе. Мальчишки сооружали над костром клетку из обрывков заборной сетки, и, когда мы шли мимо, один из них начал подтягивать кошку к костру за веревку, накинутую ей на шею. Я взял Джейн за руку и ускорил шаг. Они были так поглощены своей молчаливой работой, что почти не взглянули на нас. Джейн боялась оторвать глаза от земли. Я держал ее руку, чувствуя, как сотрясается от дрожи все ее тело.

— Что они делают с кошкой?

— Не знаю.

Я посмотрел через плечо. Было трудно что-либо разобрать из-за завесы черного дыма. Они остались далеко позади, а тропа вновь потянулась вдоль фабричных стен. Джейн чуть не плаката, и ее рука держалась в моей только потому, что я крепко сжимал. Ненужная предосторожность: бежать ей было некуда, да она бы и не решилась. Назад по тропе — свалка, вперед — тоннель, к которому мы приближались. А что произойдет, когда дойдем до конца тропы, я не представлял. Понимал, что она будет рваться домой, а я не смогу ее отпустить. Решил про это не думать. Перед входом во второй тоннель Джейн остановилась.

— Нет здесь никаких бабочек, да?

Ее голос чуть не сорвался в конце от подкатывавших рыданий. Я начал говорить, что сегодня для них, наверное, слишком жарко. Но она не слушала, всхлипывая.

— Ты сказал неправду, здесь нет бабочек, ты сказал неправду.

Всхлипы перешли в унылый и омерзительный плач, во время которого Джейн пыталась высвободить свою руку из моей. На уговоры не реагировала. Я стиснул кулак и потащил ее в тоннель. Она завизжала пронзительно и безостановочно; подхваченный эхом, визг заполнил собой весь тоннель, всю мою голову. Я попеременно то нес, то волок ее почти до середины тоннеля. И там визг внезапно потонул в грохоте проходившего над нами поезда, от которого содрогнулись земля и воздух. Поезд проходил долго. Я сжимал ее руки, вытянутые по швам, но она не сопротивлялась — гул ее оглоушил. Когда последний раскат затих, она сказала как зомби:

— Я хочу к маме.

Я расстегнул ширинку. Не знаю, увидела ли она в темноте, что к ней оттуда потянулось.

— Тронь, — сказал я и слегка тряхнул ее за плечи.

Она не пошевелилась, и я снова ее тряхнул.

— Тронь меня, ну. Что тут непонятного?

Ничего такого я не просил. На этот раз взял ее обеими руками и, тряхнув с силой, крикнул:

— Тронь, тронь!

Она протянула руку и едва скользнула пальцами по уздечке. Этого хватило. Я согнулся и кончил, я кончил себе на ладонь. Оргазм, как

поезд, проходил долго, пока все из меня не выплеснулось. Все время, проведенное наедине с собой, все часы одиноких прогулок, все мысли, которые когда-либо думал, — все теперь было у меня на ладони. Когда гейзер иссяк, я еще несколько минут стоял в этой позе, согнувшись, с чашей сложенной пятерни перед собой. В голове прояснилось, тело обмякло, и я забыл обо всем. Потом лег на живот, дотянулся до канала и сполоснул руку. Трудно было отмыть эту дрянь в холодной воде. Она налипла на пальцы, как пленка. Я отдирал ее по частям. Потом вспомнил про девочку — ее не было рядом. Я не мог допустить, чтобы она убежала домой после случившегося. Ее надо остановить. Я встал и увидел детский силуэт на фоне яркого выхода из тоннеля. Она медленно, как заколдованная, брела по краю канала. Я побежал, но не мог быстро, потому что не видел тропы перед собой. И чем ближе к слепящему свету в конце тоннеля, тем хуже видел тропу. Джейн была почти у самого выхода. Услышав за спиной шаги, она обернулась и издала звук, похожий на громкую икоту. Потом начала бежать, но тут же оступилась. С моего места было не разобрать, что произошло, — просто ее силуэт на фоне неба внезапно нырнул во тьму. Она лежала лицом вниз, когда я подбежал, левая нога сползла с тротуара и почти касалась воды. Падая, она ударилась головой, и над правым глазом синела шишка. Правая рука была вытянута вперед и совсем чуть-чуть не доставала до света. Я наклонился к ее лицу и послушал дыхание. Оно было глубоким и ровным. Глаза были сомкнуты, а ресницы — все еще влажными от слез. Дотрагиваться до нее не хотелось, это желание тоже выплеснулось из меня в канал. Я смахнул грязь с ее лица и отряхнул сзади платице.

— Глупенькая, — сказал я. — Откуда здесь бабочки.

Потом я осторожно ее приподнял и, стараясь не разбудить, тихо опустил в канал.

Обычно я сижу на ступенях библиотеки — по-моему, это лучше, чем сидеть внутри с книгами. Снаружи можно большему научиться. Я и сейчас здесь сижу, в воскресенье вечером, успокаиваясь, поджидая, когда пульс вернется к своему обычному ритму. Снова и снова проигрываю в голове все, что произошло, и как мне следовало поступить. Вижу, как скользит по асфальту камушек и как я ловко, даже глазом не поведя, останавливаю его подошвой. Тут надо было медленно к ним повернуться, встретить аплодисменты отсутствующей

улыбкой. Потом пнуть камушек назад или лучше перешагнуть через него и запросто направиться к ним и потом, когда вбросят мяч, быть с ними, одним из них, в команде. Мы бы гоняли на улице в футбол чуть ли не каждый вечер, и я бы запомнил их имена, а они — мое. Днем я бы видел их в городе, и они бы окликали меня через улицу, переходили дорогу и останавливались поболтать. В конце игры кто-то всегда подходил бы и хлопал меня по плечу:

— Значит, до завтра...

— Да, до завтра.

Мы бы устраивали совместные попойки, когда они вырастут, и мне наконец пришлось бы полюбить пиво. Я встаю и медленно иду обратно тем же путем, каким пришел сюда. Не бывать мне членом футбольной команды. Возможности так же редки, как бабочки. Только протянешь руку — а их и след простыл. Вот улица, на которой они играли. Теперь она пуста, а камушек, остановленный моей подошвой, так и лежит посреди дороги. Я подбираю его, кладу в карман и ускоряю шаг, чтобы не пропустить встречу.

Разговор с человеком из шкафа

Вы спрашиваете, что я сделал, увидев девчонку. Ха, я вам скажу. Шкаф тот видите, он почти всю комнату занимает. Я примчался сюда, залез внутрь и спустил в кулак. Не думайте, что при этом думал про нее. Мне и так хватило. Я думал про прошлое, про когда был не больше метра. Это возбуждало сильнее. Вижу, что у вас на уме: грязь, извращенец. Ха, я потом вымыл руки — иные и этого не делают. И, кстати, мне полегчало. Следите за мыслью: отпустило. Меня всегда отпускает в этой комнате, что еще надо? Вам-то какое дело. У самих небось в доме чисто, жена стирает белье, и зарплата от государства за собранные про нас сведения. Ладно, знаю, что вы этот... как его?. социальный работник и пришли помочь, но какой от вас прок, разве что выслушаете. Меня уже не изменишь — слишком долго такой. Но говорить полезно, и про себя расскажу.

Отца своего я не видел — он умер до моего рождения. Думаю, все проблемы отсюда: мать растила меня одна, без никого. Мы жили в громадном доме в пригороде Стайнса. С мозгами у нее была лажа — понятно? — вот и у меня по наследству. На детях была завернута, но про новое замужество и слышать не хотела, так и осталась с одним мной; я был у нее заместо всех нерожденных деток. Из кожи вон лезла, чтоб не взрослел, и долго у нее это получалось. Знаете, я ведь толком не говорил до восемнадцати. В школу не ходил, она меня дома держала — дескать, в школе слишком грубое обращение. День и ночь нянчилась. Когда перестал уместаться в детской кроватке, пошла и купила медицинскую (с бортами) на больничной распродаже. Очень в ее духе. Так и спал на этой штуковине, пока из дома не ушел. А на обычной не мог — боялся скатиться, если засну. Слюнявчик мне повязывала даже после того, как я ее на пять сантиметров перерос. Сумасшедшая. Притащила молоток, гвозди, доски какие-то и сколотила специальный стул для кормления — это в мои-то четырнадцать. Ха, вообразите, с каким треском эта штуковина подо мной развалилась. Но боже! Какой же дрянью она меня пичкала! Почему теперь и мучаюсь животом. Ничего не давала делать

самостоятельно, даже мыться. Шагу ступить без нее не мог, а она и радовалась, сука.

Почему не убежал, когда подрос? Вам небось кажется, что меня ничто не удерживало. Но слушайте, мне это и в голову не приходило. Я не знал, что жизнь бывает другой, не думал, что отличаюсь. Да и как убежишь, если даже выходить на улицу страшно: полсотни метров от дома — и от ужаса полные штаны? И куда? Шнурки толком не умел завязывать, а тут бы работу пришлось искать. Думаете, теперь жалею? Хотите насмешу? Я не страдал. С ней вообще-то нормально было. Она мне книжки читала и все такое, мастерила всякие штуки из картона. В ящике из-под фруктов у нас был самодельный театр, а людей мы вырезали из бумаги и ватмана. Нет, я не страдал, пока не узнал, что другие обо мне думают. Если бы можно было всю жизнь заново проживать два своих первых года, я бы, скорей всего, так никогда и не понял, что несчастен. Она ведь, вообще-то, хорошая была, моя мать. Просто немного не в себе.

Как стал взрослым? Скажу: научиться не смог. Притворяюсь. Все, что у вас на уровне подсознания, мне приходится тщательно продумывать. Контролировать каждое действие, как актеру на сцене. Вот сижу перед вами на стуле, скрестив руки, всё чин чинком — это я себя контролирую. Иначе лежал бы на полу и пускал слюни. Не верите? Да я такой же копуша, как раньше, особенно по утрам, а с недавних пор вообще перестал одеваться. Ну и за обедом вы сами видели: нож с вилкой для меня хуже пытки. Все жду, чтобы подошли, погладили по головке, покормили с ложечки. Убедил теперь? И вам не противно? Ха, а мне — да. Противно до отвращения. Кажется, так бы и плюнул в мать за то, что таким меня сделала.

Расскажу, как научился притворяться быть взрослым. Когда мне было семнадцать, матери — всего тридцать восемь. Внешне еще вполне ничего и выглядела намного моложе. Не будь она так зациклена на мне, замуж могла выскочить запросто. Но у нее одна цель была: затолкать меня обратно в утробу. Правда, только до встречи с одним чуваком, после которой ее точно подменили. Все бросила — и давай наवरстывать упущенное в плане секса. Умом тронулась из-за своего хахаля, хотя и раньше была со сдвигом. Хотела его домой привести, но не знала, как он прореагирует на семнадцатилетнего карапуза. Поэтому за два месяца мне предстояло пройти курс ускоренного

взросления. Если выплевывал еду, или коверкал слова, или даже просто стоял и глазел на нее без дела, стала меня лупить. И уходила по вечерам, оставляя одного дома. Кто бы справился с такими переменами? Семнадцать лет ути-пути и вдруг — к ногтю. Меня стали мучить мигрени. Потом припадки, особенно накануне ее вечерних уходов. Руки и ноги не слушались, язык черти что вытворял, сам собой управлялся. Кошмар просто. Потом все меркло, и наступала тьма. Мать все равно уходила, и, очнувшись, я обнаруживал, что лежу в темноте, в луже собственных испражнений. Плохое было время.

Кажется, припадки стали пореже, когда она привела-таки своего трахаря домой. К тому времени я уже стал попрезентабельнее. Сказала, что сынишка приотстал в развитии (то есть, в сущности, и не соврала). Про чувака помню, что был очень большим, с длинными сальными, зачесанными назад волосами. Всегда приходил в синем костюме. Владел гаражом в Клэпеме и с высоты своего роста и положения сразу меня невлюбил. Можно представить, как я тогда выглядел, если даже из дома почти не выходил. Худой, бледный — бледнее, чем сейчас. Я его тоже невлюбил — как-никак лишил меня матери. Он мне только кивнул в тот вечер и с тех пор никогда в мою сторону не смотрел. Игнорировал. Большой такой, сильный, чванливый — ему небось и в голову не приходило, что в мире бывают такие, как я.

Он стал наведываться к нам регулярно и обычно забирал куда-нибудь мать. Я смогрел телевизор. Тосковал в одиночестве. Ночью, когда программы заканчивались, сидел на кухне, ждал мать и, несмотря на свои семнадцать, ревел белугой. Однажды утром, выйдя из комнаты, застал ее чувака в халате за завтраком. Он даже глазом не повел, когда я вошел. А мать намеренно завозила у раковины. С того дня он ночевал у нас чаще и чаще, пока не переехал совсем. Как-то вечером они оба вырядились и ушли. А вернулись веселые, еле держась на ногах. Видать, здорово выпили. В ту же ночь мать сказала, что они расписались и что у меня теперь есть отец. Это было слишком. Со мной случился самый жуткий припадок в жизни. Описать не возьмусь: казалось, он длился несколько суток, хотя на самом деле от силы час. Открыв после него глаза, я увидел на лице матери бесконечное отвращение. Просто невероятно, как за короткое время

меняется человек. С тех пор у меня не осталось сомнений, что они с отцом мне чужие.

Я прожил с ними три месяца, пока они не нашли, куда бы меня сбаврить. Все руки не доходили, так были увлечены собой. Со мной почти не разговаривали и, если мы оказывались втроем в одной комнате, сразу же замолкали. Знаете, я вообще-то с радостью оттуда уехал, хотя покидал отчий дом и даже всплакнул на дорожку. Но в душе ликовал, что больше их не увижу. А уж они-то как радовались! Там, куда меня привезли, было неплохо. Хотя какая, в сущности, разница? Научили гигиене и грамоте, правда, с тех пор многое подзабылось. Анкету вон вашу я так и не сумел прочесть, да? Опозорился. Короче, на новом месте мне жилось неплохо. Вокруг были одни придурки, и это повышало самооценку. Три раза в неделю нас возили на автобусе в мастерскую, где показывали, как чинят маятники и наручные часы. Это чтобы мы ни от кого не зависели впоследствии, имели профессию. Только все оказалось без толку. Придешь устраиваться на работу, и первое, о чем спрашивают: где учился. Стоит сказать — и больше тебя знать не хотят. Почти самое лучшее, что со мной на новом месте случилось, — это мистер Смит. Имя у него и впрямь не ахти, да и видок заштатный — хорошего не предвещал. Но мужик оказался супер. Был там начальником, и читать меня он и учил. Я здорово наловчился. Как раз перед уходом закончил «Хоббита», только вошел во вкус. А потом стало не до чтения. Но старина Смит тут ни при чем. Он научил меня многому. Я все еще коверкал слова, когда туда поступил, а он без устали поправлял. Требовал за ним повторять. Еще говорил, что мне недостает грации. Да, грации! У него в кабинете стоял громадный проигрыватель, он ставил пластинки и велел танцевать. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Он сказал, чтобы я обо всем забыл, расслабился и двигался в такт музыке. Тогда я запрыгал по кабинету, размахивая руками, дрыгая ногами и надеясь, что никто не увидит меня через окно. А потом словил кайф. Танец сродни припадку, только приятному. Отключаешься намертво — если вы в состоянии такое представить. Пластинка кончается, а ты все еще в трансе — потный, запыхавшийся. И старина Смит как будто тоже. Я танцевал для него дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Иногда вместо пластинок он играл на

пианино. Мне это меньше нравилось, но я молчал, чтобы не портить ему удовольствия.

Он же пристрастил меня к живописи. Не к каракулям, прощу заметить. Вот вы, допустим, если захотите нарисовать дерево, то, скорее всего, намалюете снизу коричневым, а сверху зеленым. Он говорил, что это неправильно. Дом, в котором мы жили, стоял посреди сада, и как-то утром мистер Смит показал мне вековые деревья. Встали под одним, самым раскидистым. Он предложил, чтобы я... ну, это... проникся духом дерева, а потом воссоздал его. Прошло много времени, прежде чем до меня по-настоящему дошло. А сначала я нарисовал, как все: коричневым и зеленым. Тогда он объяснил, что имеет в виду. Сказал: допустим, ты хочешь нарисовать этот дуб. Какие слова приходят на ум? Величие, крепость, сумрачность. Он начертил на листе жирные черные полосы. Я понял суть и начал рисовать не вещи, а ассоциации. Он попросил нарисовать мой автопортрет, и я нарисовал нечто бесформенное желтым и белым. Потом портрет матери — и я изобразил множество больших красных губ (ее помаду), а между ними закрасил черным. Черный — это цвет ненависти. Хотя вообще-то ненависти к ней я не испытывал. Впоследствии я бросил занятия живописью — когда выходишь в жизнь, уже не до нее.

Если надоело, так и скажите, вам ведь еще многих выслушивать. На кой сидеть тут со мной? Ну, хорошо. На новом месте держали только до двадцати одного — такой был порядок. Помню, мне торт испекли на прощание (только я торты не ем и отдал его остающимся). Дали рекомендательные письма, имена и адреса людей, к которым пойти. Но я не воспользовался. Хотел сам. Это важно, когда вас всю жизнь опекают, пусть и из лучших побуждений. Приехал в Лондон. Поначалу справлялся, храбрился, знаете, думал, что Лондон мне по плечу. Когда попадаешь сюда впервые, все в новинку, будоражит, бодрит. Снял комнатку в Масвел-Хилл^[20] и начал искать работу. Там, куда можно было устроиться, требовалось поднимать, таскать или копать. Меня бегло осматривали и говорили, что не гожусь. В итоге нанялся мойщиком посуды в гостиницу. Роскошное место — в смысле, для постояльцев. Ковры темно-красные, люстры — хрусталь, сбоку в фойе играет оркестр. В первый день я по ошибке вошел через главный вход. В кухне было не так шикарно. Даже вспоминать тошно — грязь, вонь. На людях экономили, что ли, — посуду мыл я один. Или не

нашлось других охотников впахивать по двенадцать часов в смену с перерывом на сорок пять минут.

Но с графиком я бы свылся — помогало сознание, что впервые в жизни сам зарабатываю. А вот с поваром не поладил. Он зарплату нам выдавал, вечно обсчитывал. Деньги, конечно, клал в карман. Мало, что жулик, так еще образина. Фурунгулов столько, что от одного вида тошнит. На роже, на лбу, под подбородком, за ушами, даже на мочках. Назревшие, гнойные, красные и желтые — непонятно, как такого вообще к еде подпускали. Правда, им там все было до фонаря на этой кухне. Тараканов столько, что хоть суп вари. Повар меня изводил. Прозвал Страшилой — вроде как в шутку. «Эй, Страшила! Много ворон распугал?» Остряк. Сам-то женщин распугивал своими прыщами. Даже помыслы были гнойными у ублюдка. Все свои похабные журнальчики гноем закапал. На уборщиц насакивал, когда они по кухне грязь развозили. Они уж старухи были (никак не меньше шестидесяти), чернокожие в основном и безобразные. Так и вижу его улыбочку, когда он, плюясь, запускает пятерни им под юбки. А они не жаловались, чтоб не уволил. Может, по вашим меркам он и полноценный. Но уж лучше быть таким, как я.

Хоть все и смеялись его шуточкам, я на них не реагировал, и Прыщавое Рыло сменил тактику. Стал работой заваливать, подыскивал, какая погрязнее. Издевками тоже доставал, и однажды, драя по третьему разу кастрюли, я ему сказал: «Чтоб ты сдох, Прыщавое Рыло!» Он аж подпрыгнул. В глаза его так никто не называл. До конца дня в себя приходил. А к утру очухался, подошел ко мне и говорит: «Будешь духовку чистить». Была там такая здоровенная чугунная печь — ее небось от силы раз в году мыли. На стенках — нагар в палец толщиной. Отчистить можно, только забравшись внутрь с тазиком воды и скребком. Там пахлодохлыми кошками. Я налил воды в тазик, взял пару металлических мочалок и полез в печь. Дышал ртом, чтобы не стошнило. А через десять минут дверь духовки захлопнулась. Прыщавое Рыло постарался. За чугунными стенами раздался его смех. Пять часов меня там продержал, уже и перерыв кончился. Пять часов в вонючей черной духовке, и потом еще посуду заставил мыть. Я чуть не лопнул от бешенства. Но боялся потерять работу и ничего не сказал.

Назавтра еще посуду от завтрака не принесли, а Прыщавое Рыло спрашивает: «По-моему, я кого-то посылал духовку чистить, Страшила?» Пришлось снова брать вчерашние причиндалы и лезть в печь. Только залез, как дверь за мной захлопнулась. Ну, я и сорвался. Орал, называл Прыщавое Рыло прыщавым рылом и колотил в стены, пока не сбил кулаки в кровь. Потом затих, устроился поудобнее и стал ждать. То и дело разминал ноги, чтобы не затекали. Просидел, наверное, часов шесть. Вдруг слышу — Прыщавое Рыло ржет за стенкой. И сразу в жар бросило. Я сначала не поверил, решил, что от бешенства. Но нет: Прыщавое Рыло духовку включил. Вскоре пришлось сесть на корточки, иначе было никак. Жгло даже сквозь подошвы, лицо и ноздри горели. Выступил пот, при каждом вдохе обжигало горло. До стенок не дотронуться — накалились. Не закричать — надо беречь кислород. Думал — умру, не сомневался, что Прыщавое Рыло собирается запечь меня заживо. Но нет, выпустил. Я был почти без сознания, однако расслышал, как он сказал: «Эй, Страшила, где это ты пропадал? Я же тебя послал духовку чистить». И заржал, а другие подхватили, подхалимы. Домой я вернулся на такси и сразу же лег. Совсем было худо. А утром — вообще. Волдыри на ступнях и вдоль позвоночника (видно, все-таки прислонился к стенке духовки). Рвота. Но одна мысль не давала покоя: во что бы то ни стало отомстить Прыщавому Рылу. Дойти до работы не смог — снова приехал на такси. С трудом дождался перерыва. Прыщавое Рыло не приставал. Засел в углу над своими журнальчиками. Я включил газ под одной из фритюрниц. В ней умещалось почти два литра масла. Оно быстро вскипело, я снял сковороду с огня и направился к Прыщавому Рылу. Ступни нестерпимо болели. Сердце ухало, предвкушая месть. Я подошел к его стулу. Он поднял глаза, увидел мое лицо и обо всем догадался. Но поздно. Масло вылилось ему на колени, а я, чтобы ни в чем не заподозрили, сделал вид, что поскользнулся. Прыщавое Рыло завопил, как вепрь. Люди так не кричат. Одежда на нем расплавилась, и обнажились яйца, которые сначала покраснели, а потом распухли и стали белыми. Масло стекло по его ногам. Он орал двадцать пять минут, пока подоспевший врач не дал ему морфия.

Позднее я узнал, что Прыщавое Рыло проторчал в больнице девять месяцев, пока из него выковыривали кусочки расплавившейся одежды. Вот как он поплатился.

Из-за своих травм я не мог продолжать работу. Хорошо хоть заплатил за квартиру вперед и отложил немного денег. Две следующие недели провел в ежедневных визитах к врачу. Когда ожоги прошли, решил снова куда-нибудь устроиться. Но эйфории от города как не бывало. Теперь Лондон меня подавлял. Утром не хотелось вставать с постели. Под одеялом так хорошо, там я чувствовал себя в безопасности. Стоило представить толпы людей, грохот машин, очереди и все такое, как становилось жутко. Вспомнилось прошлое, наша идиллия с матерью. Захотелось назад — в старые добрые времена, в тепло и уют, и чтобы снова все само собой делалось. Мне пришло в голову (хоть это и глупо, знаю), что, возможно, матери надоел ее новый муж и что, когда я вернусь, мы заживем с ней по-старому. Это стало навязчивой идеей. Вскоре я ни о чем другом думать не мог. Поверил, что мать ждет не дождется моего возвращения, может, даже разыскивает с полицией. Если вернусь, она бросится мне на шею, начнет кормить с ложечки, мы снова соорудим театр в ящике из-под фруктов. И вот однажды я отправился к ней. Сколько можно оттягивать? Сбежал вниз по лестнице и помчался по улице. От радости чуть не пел. До Стайнса доехал на поезде, а от станции снова понесся вприпрыжку. Все будет хорошо. У поворота на наш участок притормозил. В окнах первого этажа горел свет. Позвонил. Ноги вдруг ослабели, и пришлось привалиться к косяку. Дверь открылась, но за ней оказалась не мать. За ней оказалась девчонка — смазливенькая, лет восемнадцати. Я растерялся, не знал, что сказать. Не мог найти слов, стоял и молчал, как дурак. «Вы кто?» — спросила она. Я сказал, что раньше жил в этом доме, а теперь разыскиваю мать. Она сказала, что живет здесь с родителями уже два года. Потом пошла узнавать, не оставили ли предыдущие хозяева свой новый адрес. Пока ходила, я успел рассмотреть коридор. Там все стало иначе. Шкафы с книгами, и обои, и телефон — у нас никогда не было телефона. Так грустно сделалось, и еще обидно, будто обжулили. Девчонка вернулась и сказала, что адреса нет. Я поблагодарил и поплелся назад. Прямо как побитая собака. Дом-то, вообще-то, мой, могла бы хоть внутрь пригласить, в тепло. Могла положить руки на плечи, сказать: «Давай ты будешь жить с нами». Может, и глупо, но я только об этом и думал по дороге на станцию.

Пришлось снова искать работу. Будь проклята эта духовка. Ведь это сидя в ней, я впервые вспомнил про Стайнс, вообразил, что там все по-старому. Просто наваждение какое-то. Стал мечтать, чтобы меня снова заперли в печи. Бред — особенно после моей мести Прыщавому Рылу. Но вот хотелось — и хоть ты тресни. Со временем я все больше и больше убеждался, что, залезая в духовку во второй раз, подспудно желал, чтобы Прыщавое Рыло меня запер. Желал, не отдавая себе в этом отчета, — понимаете? Чтобы испытать отчаяние. Ощутить себя в западне. Просто в духовке я слишком боялся сгореть, слишком злился на Прыщавое Рыло и не успел насладиться моментом. А потом понял и пожалел.

С работой мне все не везло, а сбережения кончались, поэтому я начал воровать. Идиотизм, конечно, зато без напряжения. А что прикажете? Кушать-то хочется. Воровал всюду понемногу, чаще в супермаркетах. Приходил в длинном плаще с глубокими карманами. Совал туда замороженное мясо, консервы всякие. А чтобы расплачиваться за квартиру, брал вещи подороже и потом сдавал их в ломбард. Целый месяц забот не знал. Имел что хотел, а когда хотел, чего не имел, шел в магазин и тырил. Но, видно, слишком расслабился. В магазине был сыщик, и он прихватил меня с наручными часами.

Но прихватил не сразу. Дал украсть, а потом увязался за мной на улице. Только на остановке автобуса вцепился в руку и поволок обратно. Вызвали полицию, отдали под суд. Оказывается, за мной уже давно следили, так что кучу всего навесили. Но поскольку раньше ничего такого не совершал, велели дважды в неделю отмечаться у чиновника службы probation. Считайте — повезло. Могли и шесть месяцев вкатить. Так полицейский сказал.

На probation не кормили и жилье не оплачивали. Хотя чиновник был ничего, старательный. За ним столько народу числилось, что от понедельника до четверга он успевал забыть, как кого зовут. Зато работы мне подбирал такие, где требовалось знание грамоты, на остальных требовалась сила для поднятия тяжестей. Только на кой они мне сдались теперь, эти работы? Навидался уже людей, не хотел, чтобы снова Страшилой обзывали. И что же? Начал опять воровать. Еще осторожнее, чем раньше, и никогда по два раза в одном магазине. Но знаете, попался уже через неделю. Стащил в универмаге декоративный нож, да видно, карманы в плаще проносились. У самых

дверей нож выпал из — под полы на пол. Я даже моргнуть не успел, а на мне уже трое охранников повисли. Снова суд, и теперь уперли на три месяца.

Тюрьма — забавное место. Хотя в ней и не до смеха. Думал, там будут одни бандиты, знаете, рецидивисты в наколках. Но их оказалось немного. В основном обычные люди, просто чокнутые, как в том месте, куда меня мать поместила. В тюрьме было неплохо, не так, как я ожидал. Камера вроде моей комнаты в Масвел-Хилле. А вид из окна даже, пожалуй, лучше, потому что этаж высокий. Из обстановки — кровать, стол, книжная полка и раковина. Разreshалось вырезать картинки из журналов и развешивать их по стенам, что в Масвел-Хилле было запрещено. Камеру запирали всего на несколько часов в день. Остальное время — слоняйся, соседей навещай, но только на своем этаже. Вверх-вниз нельзя: лестница за железными воротами.

Попадались прикольные типы. Один чудака вставал на стул во время общей кормежки и сбрасывал с себя одежду. В первый раз у меня челюсть так и отвисла, но все вокруг продолжали есть и трепаться, и я тоже сделал вид, что это в порядке вещей. Вскоре и правда перестал его замечать, хотя он это часто проделывал. К чему только не привыкнешь со временем. Еще был персонаж по имени Джек — Горилла. Зашел ко мне на второй день, познакомились. Объяснил, что осужден за мошенничество и что его отец был дрессировщиком лошадей, но разорился. Других подробностей не помню, но он кучу всего порассказал. Потом ушел. Назавтра снова явился и снова знакомится, будто мы никогда не виделись. Теперь признался, что сидит за многократное изнасилование и что ненасытен в любви. Я думал, прикалывается, потому что накануне ему поверил. Но нет, всерьез. И так каждый раз выдавал что-нибудь новенькое. Не помнил ни предыдущего разговора, ни кто он такой. Если вообще это знал. Потерялся как личность. Потом выяснилось, что его огрели по голове во время вооруженного ограбления. Правда или нет — неизвестно. Никому нельзя верить.

Но вы не думайте — там не все были такие. Попадались и хорошие, а лучше всех — Тугоухий. Как его по-настоящему звали, никто не знал, а Тугоухий не мог сказать — он был глухонемой. Сидел чуть ли не с рождения. У него была лучшая камера в тюрьме, ему в ней даже чай заваривать разрешали. Мы с ним часто общались. Ясное

дело, молча. Сядем напротив, поулыбаемся — вот и весь разговор. Он заваривал самый вкусный чай на свете. Случалось, я дремал в его кресле, пока он листал комиксы про войну, вытаскивая их из огромной кипы в углу. Я рассказывал ему обо всем, что меня беспокоило. Он ни слова не понимал, но кивал, улыбаясь или сочувственно — в зависимости от выражения моего лица. Думаю, ему нравилось быть в курсе. Другие заключенные его сторонились. Зато охранники любили и чем только не угощали. Иногда мы пили чай с шоколадным печеньем. Он умел читать и писать — значит, мозги были не хуже моих.

Те три месяца — лучший период со времени моего ухода из дома. Я обустроил камеру и жил по строгому распорядку. Ни с кем, кроме Тугоухого, не разговаривал. Не тянуло, да и зачем усложнять жизнь? Вам небось кажется, что в камере ощущения такие же, как в духовке. Ан нет. Там была горькая отрада отчаяния, а здесь — чувство безопасности. Я лишь хотел, чтобы мою свободу ограничили еще больше. Особенно любил время, когда камеру покидать не разрешалось. Я бы не расстроился, если бы из нее вообще перестали выпускать, только по Тугоухому бы скучал. Можно не строить планов. И завтра неотличимо от вчера. И не надо заботиться о еде и квартирной плате. Время неподвижно, как гладь озера. Когда срок подошел к концу, я занервничал. Пошел к замначальника тюрьмы и попросил разрешения остаться. Но он сказал, что за каждого из нас государство платит шестнадцать фунтов в неделю и что другие на очереди. На всех места нет.

Пришлось выйти. Меня устроили на фабрику. Я въехал в эту комнату на чердаке, где с тех пор и живу. На фабрике стоял у конвейера, снимал банки с малиной с бегущей ленты. Ну и ладно — главное, из-за шума можно было не разговаривать. Я ведь теперь со странностями. Хотя всегда это про себя знал. После духовки мечтаю только о том, чтобы снова оказаться взаперти. Хочу быть маленьким. А шума и людей не хочу. Ну их всех, в темноте лучше. Шкаф тот видите, почти во всю комнату? Откройте и убедитесь, что одежды в нем нет. Одни подушки и одеяла. Я вхожу внутрь, закрываю дверь и сижу часами во тьме. Может, и глупо, но мне там хорошо. И не надоедает нисколько, хотя я просто сижу. Правда, иногда хочется, чтобы шкаф встал и прошелся вместе со мной внутри. Поначалу я редко туда

забирался, потом все чаще и чаще, а потом чуть не каждую ночь. И с утра тоже выходить не хотелось — я стал опаздывать на работу. Потом совсем ее бросил. Уже три месяца как. Ненавижу отсюда выбираться. В шкафу лучше.

Кому нужна свобода? Когда на улице я вижу детей, которых кутают и носят на руках мамы, меня душит зависть. Хочу быть как они. Чем я хуже? Почему должен сам ходить, и зарабатывать, и готовить обед, и ежедневно производить сотни разнообразных действий, без которых не выжить? Хочу в коляску. Ну и что, что рост метр восемьдесят? Мне все равно. На днях я стащил из какой-то коляски одеяльце. Не знаю зачем — видно, мне надо изредка соприкоснуться с вашим миром, чтобы не чувствовать себя совсем вычеркнутым. Я вычеркнут. Мне даже секс ваш не нужен. При виде смазливенькой девчонки, вроде той, что вам описал, у меня внутри все сжимается, и я бегу сюда и спускаю в кулак, как уже рассказывал. Таких, как я, вряд ли много. А одеяльце из коляски теперь здесь, в шкафу. Одного мне мало — я еще наворую.

Выхожу я редко. Последний раз — две недели назад. Тогда купил консервов, хотя аппетита у меня никакого. В основном сижу в шкафу, вспоминая прошлое в Стайнсе, мечтая, чтобы оно вернулось. Если ночью дождь, он стучит по крыше и не дает спать. Я думаю про девчонку, что живет теперь в нашем доме, слушаю вой ветра и шум машин за окном. Хочу, чтобы мне снова был год. Но это исключено. Я точно знаю.

Первая любовь, последнее помазание

С начала лета и покуда это не потеряло смысл, мы закидывали тонкий матрас на массивный дубовый стол и занимались любовью у большого распахнутого окна. Нас ласкали ветерок и запахи набережной четырьмя этажами ниже. Меня против воли обуревали видения, грезилась какая-то тварь, а после, когда мы, расцепившись, валились на громадный стол, в воцарявшейся тишине слышалось, как она возится и скребет когтями. Для меня все тогда было впервые, я занервничал и рассказал про это Сесиль, думал, она успокоит. Но Сесиль ничего не смогла сказать: она не строила домыслов и не обсуждала ситуаций — лишь проживала их. Мы наблюдали за чайками, парившими в нашем квадрате неба, и гадали, видят ли чайки нас, вот какие вещи нас занимали, забавные сиюминутные несуразицы. Сесиль принимала мир, как он есть: помешивала кофе, занималась любовью, слушала пластинки, смотрела в окно. Она не говорила, что счастлива или не знает, как поступить, хочет меня сейчас или не хочет или что устала от родительских ссор, не владела языком, расщепляющим душу надвое, и поэтому, трахаясь, я один страдал от того, что считал своим извращением, а после я один слышал чье-то поскребывание в тишине. Но однажды, очнувшись после короткого дневного сна, Сесиль оторвала голову от матраса и сказала: «Кто это там царапается за стенкой?»

Друзья были теперь далеко, в Лондоне, от них приходили письма, полные мучительных размышлений: что будет дальше? Кто они и зачем вообще всё? Друзьям было, как мне, семнадцать и восемнадцать, но я делал вид, что не понимаю их. Отвечал на открытках, советовал найти стол побольше и распахнутое окно. Быть счастливым казалось так просто: я делал ловушки для угрей, какой еще нужен смысл. Лето шло, друзья писать перестали. Нас навещал только Адриан — десятилетний брат Сесиль, спасался от бесприютности пришедшего в упадок дома, резких перепадов материнского настроения, одержимо упражнявшихся на рояле сестер и редких нерадостных посещений отца. Родители Адриана и Сесиль, прожив в браке двадцать семь лет и произведя на свет шестерых детей, возненавидели друг друга так

люто, что больше не могли находиться под одной крышей. Отец перебрался в дешевую гостиницу на соседней улице, чтобы не слишком удаляться от детей. Он был коммерсантом, потерявшим работу и похожим на Грегори Пека, он был оптимистом и знал сотни самых неожиданных способов разбогатеть. Обычно мы встречались в пабе. Про свою невостребованность и семейные дразги он молчал, не возражал, что дочь живет в моей комнате с видом на набережную. Вместо этого рассказывал, как воевать в Корее и как был международным торговым агентом, и про друзей, которые мухлевали с законами, а теперь при чинах и пожалованы дворянством, и потом однажды про угрей реки Уз, как они кишмя кишат на дне и как можно разбогатеть на их ловле и поставке живьем в Лондон. Я рассказал про отложенные восемьдесят фунтов в банке, и утром мы купили материал для плетения сетей, бечевку, проволоочные кольца и старый водосборный бак, чтобы держать в нем улов. Следующие два месяца ушли на изготовление ловушек.

В погожие дни я выносил сети, кольца и бечевку на пристань и работал, усевшись на кнехт. Ловушка для угря цилиндрической формы; один конец наглухо закрыт, а к другому крепится длинная конусообразная воронка. Ее опускают на дно, угорь заплывает за приманкой, а выбраться из-за своей слепоты не может. Рыбаки относились к затее дружелюбно, но не без скепсиса. «Угри-то там есть, — говорили они, — может, даже несколько и поймашь, да ведь только на это не проживешь. А сети сорвет течением, глазом моргнуть не успеешь». «У нас грузила железные», — говорил я, и они подоброму пожимали плечами и показывали, как лучше крепить кольца к сетям, полагая, что у меня есть право самому убедиться. Когда рыбаки отчаливали на своих яликах и работа не клеилась, я смотрел, как вода облизывает прибрежный ил, и верил, что спешить некуда: богатство не убежит.

Как-то я попробовал увлечь нашей авантюрой Сесиль, рассказал про гребную лодку, которую мне одолжили на лето, но она не заинтересовалась. Тогда мы закинули матрас на стол и легли в одежде. Она заговорила. Мы соединили ладони, она внимательно изучила размер и форму наших кистей, выдала заключение. Размер одинаковый, пальцы у тебя толще и здесь пошире. Кончиком большого пальца измерила мои ресницы и пожалела, что у нее не такие длинные;

рассказала про собаку, которая была у нее в детстве, тоже с длинными белыми ресницами. Посмотрела на мой сгоревший на солнце нос и поговорила про это, про то, кто из ее братьев и сестер сначала краснеет на солнце, а кто сразу покрывается ровным загаром и что сказала однажды самая младшая сестра. Мы медленно разделись. Она скинула легкие парусиновые туфли и заговорила про паршу на ступне. Я слушал, закрыв глаза, ощущая запах ила, и водорослей, и пыли из распахнутого окна. Что вижу — то пою, так это у нее называлось. Потом, уже в ней, я все воспринимал острее, точно проник внутрь своих видений, и мое нарастающее возбуждение стало неотделимо от мысли, что благодаря нам в животе Сесиль может вырасти новое существо. Отцом я быть не хотел, этого не было и в помине. А были яйцеклетки, сперматозоиды, хромосомы, перья, жабры, когти, неостановимый химический процесс зарождения нового существа, вершившийся в темно-красной слизистой мути всего в нескольких сантиметрах от кончика моего члена, и, ощущая свою ничтожность перед этим древним могучим процессом, я кончал раньше, чем намеревался. Выслушав мой рассказ, Сесиль засмеялась. «О божже», — сказала она. Для меня Сесиль была частью процесса, его ядром, и это лишь усиливало возбуждение. Вообще-то она предохранялась, но раз или два в месяц забывала пить свои таблетки. Не сговариваясь, мы оба решили, что лучше мне перед концом вынимать, но это редко удавалось. Когда накатывал оргазм, увлекая нас вниз по длинному склону, в те последние отчаянные секунды я судорожно рвался наружу, бился как угорь в ловушке своего наваждения, но навстречу из мрака поднималось заждавшееся, голодное существо, и, теряя контроль, я кормил его комьями своего густого белого киселя. В те доли секунды, забыв про все, я жаждал без остатка скормить себя существу, не важно где, в утробе или снаружи, трахать одну Сесиль, вскармливать новых существ — на миг все остальное теряло смысл. Во время ее месячных я особенно осторожничал: про женщин тогда знал мало, тому, что говорили, не доверял. Месячные Сесиль были обильны и легки, мы упивались друг другом, становясь липкими и коричневыми от крови — сами как два существа, блестящих от слизи, вскармливаемых через проем окна белыми комьями облаков, смрадом прибрежного ила, киснувшего на солнце. Я боялся лишиться своих видений, знал, что без них не кончу.

Спрашивал, о чем думает, чтобы кончить, Сесиль, но она только усмехалась в ответ. Уж во всяком случае, не про перья и жабы. Тогда про что? Ни про что конкретное, почти ни про что. Я настаивал, она соскальзывала в молчание.

Я убедил себя, что слышу поскребывание вымышленной твари, поэтому, когда Сесиль вдруг тоже услышала его и насторожилась, подумал, что и видения у нас теперь общие, звук был продолжением наших соитий. Он возникал, когда, обессилив, мы лежали на спинах, выпотрошенные и просветленные, совсем притихшие. Казалось, чьи-то маленькие коготки слепо тычутся в стену — не звук даже, а призрак звука, такой только вдвоем и расслышишь. Мы думали, он раздастся в одном месте стены. Но стоило мне встать на колени и приложить ухо к плинтусу, как звук смолк, только чудилось чье-то замершее движение с изнанки доски, точно кто-то затаился во тьме. Прошла неделя, за ней другая, и еще одна, теперь звук возникал в разное время, иногда ночью. Я подумал, что Адриан-то уж точно его распознает. «Слушай, вот он, Адриан, помолчи минутку, как ты думаешь, что это, Адриан?» Он замер нетерпеливо, стараясь уловить то, что для нас было столь очевидно, но долго усидеть на месте не смог. «Нет там ничего! — крикнул он. — Ничего, ничего, ничего». Расходясь все больше, он запрыгнул на спину сестры, визжа и цокая языком. Не хотел, чтобы мы слышали что — либо, неслышное ему. Я стащил его со спины Сесиль и повалил на лопатки в кровати. «Слушай, — сказал я, не давая ему брыкаться, — вот он опять». Он вырвался и выбежал из комнаты, имитируя долгим переливистым воплем вой полицейской сирены. Мы слушали, как вопль затихает, удаляясь по лестнице, а когда он затих совсем, я сказал: «По — моему, Адриан просто боится мышей», — «Тогда уж крыс», — сказала его сестра и положила руку на бугорок между моих ног.

К середине июля мы уже не были так счастливы в нашей комнате, обросли грязью и скрытыми недовольствами, а обсуждать это Сесиль не хотела. Теперь Адриан приходил к нам ежедневно, настали летние каникулы, а дома ему было невыносимо. Мы слышали, как он кричал и топал по ступенькам четырем этажами ниже. С шумом распахивал дверь, делал стойку на руках, выпендривался. Часто запрыгивал Сесиль на спину, красуясь передо мной, не умолкая ни на минуту, боялся, что мы заскучаем и прогоним его, отправим домой. Он никак

не мог взять в толк, что стало с его сестрой. Раньше она любила подраться, и дралась здорово, я слышал, как он хвастался об этом друзьям, гордился ею. Теперь же все изменилось, сестра сердито отталкивала его, хотела сидеть одна и бездельничать, хотела слушать пластинки. Пришла в ярость, когда он наступил ей на юбку ботинками, и грудь у нее стала как у матери, и общалась она с ним как мать. «Слезай оттуда, Адриан. Пожалуйста, Адриан, прошу тебя, не сейчас, позже». Он не верил в окончательность перемен, просто такое у сестры настроение, такой этап, и продолжал дразнить ее и задирается в надежде, что все станет как прежде, как до ухода отца. Стиснув руками ее шею и повалив на кровать, он ждал от меня похвал, считал, что мы заодно, мужчины против девчонки. Так хотел одобрения, что не замечал его отсутствия. Сесиль никогда Адриана не прогоняла, понимала, зачем он здесь, но ей было нелегко. В один особенно мучительный вечер она вышла из комнаты, чуть не плача от отчаяния. Адриан повернулся ко мне и вскинул брови в притворном ужасе. Я попробовал его вразумить, но он тут же зацокал языком и встал в бойцовскую стойку. Про брата Сесиль со мной не говорила, она никогда не делала общих замечаний о людях, потому что вообще никогда не делала общих замечаний. Лишь изредка, когда на лестнице раздавались шаги Адриана, ее выдавало выражение глаз и легкое поморщивание красивых губ.

Был только один способ убедить Адриана оставить нас в покое. Он не выносил, когда мы с Сесиль касались друг друга, его это ранило, вызывало физическое отвращение. Видя, как один из нас идет по комнате навстречу другому, он молча молил, бросался наперерез, надеясь, что мы переключимся на новую игру. Он неистово передразнивал нас в последней отчаянной попытке показать, до чего мы нелепы. Потом терпение его иссякало, и он бросался вон, расстреливая автоматной очередью немецких солдат и юных влюбленных на лестнице.

Но мы с Сесиль прикасались друг к другу все реже, каждый по-своему этого избегал. Не то чтобы страсть пошла на убыль, нам по-прежнему было хорошо вдвоем, но обстановка не способствовала. Сама комната. Мы больше не жили на четвертом этаже отдельно от всех, свежий ветер не дул в окно, один лишь тягучий зной, поднимавшийся от набережной и дохлых медуз, и полчища мух, злых

серых слепней, отыскивавших подмышки и свирепо жаливших, домашних мух, вившихся тучами над едой. Волосы у нас отросли, стали сальными, лезли в глаза. Еда, которую мы покупали, раскисала и имела привкус реки. Мы перестали закидывать матрас на стол, на полу теперь казалось прохладнее, но пол был покрыт слоем склизкого речного песка, от которого никак не удавалось избавиться. Сесиль надоели пластинки, а ее парша распространилась на вторую ступню, и запах был соответствующий. В комнате и без того воняло. Мы не говорили про переезд, потому что вообще ни о чем не говорили. Теперь поскребывание за стеной будило нас каждую ночь, стало громче и настойчивей. Когда мы занимались любовью, оно стихало, точно там прислушивались. Мы почти не занимались любовью, и повсюду был мусор, молочные бутылки, которые никто не хотел выносить, серый прогорклый сыр, обертки от масла, баночки из-под йогурта, протухшая салями. И среди всего этого Адриан, демонстрирующий, как он умеет делать колесо, цокающий, строчащий из автомата, нападающий на сестру. Я пробовал сочинять стихи про свои видения, про существо в животе Сесиль, но не знал, с чего начать, и бросал, не записав даже первой строчки. Вместо этого шел гулять по насыпи вдоль реки, углубляясь в норфолкскую пастораль унылых свекольных полей, телеграфных столбов и стандартно серого неба. У меня остались недоделанными две ловушки, я каждый день силой усаживал себя за них. Но в душе мечтал бросить, не верил, что угри станут туда заплывать, да и кому это нужно, не лучше ли им остаться непотревоженными на прохладном илистом дне реки. И все-таки не бросал, потому что отец Сесиль тоже готовился, потому что хотел оправдать потраченные деньги и время, потому что затея сдвинулась с мертвой точки и, пусть вяло, пусть ненадежно, катилась теперь сама, и остановить ее я был так же не в силах, как вынести молочные бутылки из комнаты.

Потом Сесиль нашла работу, и я вдруг увидел, что мы ничем не отличаемся от других, у всех были комнаты, дома, работа, карьера, все так жили, только комнаты чище, работа лучше, а мы кое-как сводили концы с концами. Работа Сесиль была в одном из фабричных зданий с глухими стенами на другой стороне реки, там консервировали овощи и фрукты. От нее требовалось по десять часов в день сидеть в гуле машин перед ползущей лентой конвейера, не отвлекаться на разговоры

и выбирать гнилую морковь, чтобы она не попала в консервы. В конце первого дня Сесиль пришла домой в бело-розовом нейлоновом плащике и розовом берете. Я сказал: «Почему ты не разденешься?» Сесиль пожала плечами. Ей было все равно, скучать ли в комнате, скучать ли на фабрике, где из динамиков, прикрученных к стальным балкам, орало «Радио-1», где четыреста женщин полуслушали, полудремали, пока их руки двигались взад-вперед, точно механические челноки. На второй день я сел на паром и переехал на тот берег, чтобы встретить Сесиль у ворот фабрики. Из крошечной, обитой жестью двери в огромной глухой стене вышло несколько женщин, и на всей фабрике завывала сирена. Открылись другие крошечные двери, и из них повалили, устремляясь к воротам, сотни женщин в бело-розовых нейлоновых плащах и беретах. Я стоял на небольшом возвышении, стараясь высмотреть Сесиль, это вдруг сделалось крайне важно.

Мне почудилось, что если не отыщу ее в этом шуршащем нейлоновом потоке, то потеряю навсегда, и сам потеряюсь, и значит, все у нас было напрасно. Приближаясь к воротам, поток густел и убыстрялся. Одни почти бежали с тем особым неисправимым скосом ног, которому женщин учат с детства, другие просто ускоряли шаг. Позже я выяснил, что они спешили домой, чтобы приготовить ужин семьям, выиграть лишнюю минуту для домашних дел. Опоздавшие к следующей смене вынуждены были пробиваться против течения. Сесиль я не отыскал, и меня охватил ужас, я выкрикнул ее имя, Сесиль, Сесиль, но слова потонули в топоте сотен ног. Две женщины средних лет, остановившиеся прикурить, презрительно усмехнулись: «Сам соси». Я пошел домой длинной дорогой, через мост, и решил, что не скажу Сесиль про то, как ждал ее у фабрики, иначе придется объяснять свой испуг, а я не знал как. Она сидела на кровати, когда я вошел, на ней был нейлоновый плащ. Берет лежал на полу. «Может, разденешься?» — сказал я. Она сказала: «Это ты там стоял у фабрики?» Я кивнул. «Почему ты меня не окликнула, если видела?» Сесиль отвернулась и легла лицом вниз на кровать. Плащ был в пятнах, от него пахло машинным маслом и землей. «Чертегозна, — сказала она в подушку. — Не сообразила. Совсем не соображаю после смены». Ее слова прозвучали как последний вздох умирающего, я окинул комнату взглядом и замолчал.

Через два дня, в субботу, я купил два кило тугих, как резина, сочившихся кровью коровьих легких для наживки. Вечером мы разложили их по ловушкам и во время отлива выехали на лодке на середину реки опустить ловушки на дно. Все семь мест пометили буйками. В четыре утра в воскресенье меня разбудил отец Сесиль, и мы отправились на его грузовичке туда, где оставили лодку. Нам не терпелось подплыть к буйкам, поднять ловушки, посмотреть, сколько там угрей, понять, имеет ли смысл наделать больше ловушек, чтобы в них попало больше угрей, которых мы будем раз в неделю возить на рынок в Биллингсгейт, ждет ли нас богатство. Утро было унылым и ветреным, я ничего не предвкушал, чувствовал только усталость и непрекращающуюся эрекцию. Полудремал, согретый печкой грузовичка. Ночью я почти не спал, слушая поскребывание за стеной. Один раз даже встал и постучал по плинтусу ложкой. Поскребывание прервалось, потом снова возобновилось. Сомнений не оставалось: кто-то пытается пролезть в комнату. Отец Сесиль сел на весла, я стал высматривать буйки. Разглядеть их оказалось труднее, чем мы думали, они не белели над водой, а проступали из темноты едва различимыми силуэтами. Первый мы нашли через двадцать минут. Потянув за него, я поразился, как быстро чистая белая веревка из магазина стала такой же, как все остальные веревки у реки, бурой, с налипшими на нее тонкими водорослями. Ловушка тоже выглядела выдавшей виды, неузнаваемой, не верилось, что ее сделал один из нас. Внутри были два краба и большой угорь. Отец Сесиль открыл затворку, вытряхнул крабов в воду, а угря переложил в пластмассовое ведро, лежавшее в лодке. Мы наполнили ловушку свежей порцией коровьих легких и бросили ее за борт. Следующую обнаружили только через пятнадцать минут, в ней было пусто. Потом еще полчаса плавали туда-сюда, но больше ловушек не нашли, к тому времени начался прилив, и продолжать поиск не имело смысла. Мы поменялись местами, и я погреб к берегу.

Мы возвратились в гостиницу, где жил отец Сесиль, и он приготовил завтрак. Говорить про потерянные ловушки не хотелось, мы убеждали сами себя и друг друга, что найдем их во время следующего отлива. Хотя оба знали, что не найдем, что их унесло течением, и я совершенно точно знал, что в жизни больше не сделаю ни одной ловушки. Я также знал, что мой напарник забирает Адриана

с собой в короткое путешествие, они уезжали во второй половине дня. Собирались посмотреть на военные аэродромы и надеялись успеть в Имперский военный музей. Мы поели яиц, ветчины и грибов и выпили кофе. Отец Сесиль рассказал про свою новую идею, простую, но сулящую хорошие барыши. Здесь, на набережной, креветки стоят совсем дешево, а в Брюсселе они очень дорогие. Можно каждую неделю отвозить туда два полных грузовика, он говорил об этом в своей обычной манере, без нажима, по-дружески, и в тот момент план показался мне вполне выполнимым. Я допил кофе. «Что ж, — сказал я, — об этом стоит подумать». Взял ведро с угрем — будет нам с Сесиль обед. Мой напарник сказал, пожимая мне руку, что самый надежный способ умертвить угря — это засыпать его солью. Я пожелал ему хорошо провести время, и мы расстались, всем своим видом убеждая друг друга, что в первый же отлив один из нас возьмет лодку и поедет искать ловушки.

Я не ожидал, что после недели на фабрике Сесиль проснется к моему возвращению, но она сидела на кровати, бледная, обхватив руками колени, и неотрывно смотрела в угол. «Она здесь, — сказала Сесиль. — Вон за той стопкой книг на полу». Я присел на кровать, чтобы снять мокрые ботинки и носки. Мышь? Тебя опять мышь разбудила? Сесиль ответила почти шепотом. Это крыса. Она перебегала комнату, и я успела ее увидеть, это крыса. Я подошел к стопке книг и пнул по ней ногой, и тотчас же она выскочила, сперва я услышал клацанье когтей по половицам, а потом увидел бегущий мохнатый ком вдоль стены, она показалась мне размером с маленькую собаку, крыса, мерзкая тварь, откормленная серая крыса с волочившимся по полу брюхом. Она пронеслась вдоль всей стены и юркнула под комод. «Надо ее прогнать», — простонала Сесиль не своим голосом. Я кивнул, ибо в тот момент не мог ни двинуться, ни заговорить, она была огромна, эта крыса, и она жила с нами все лето, скребла стену в глубокой кристальной тиши, слушала, как мы трахались и как спали, почти член семьи. Я испугался, струсил больше, чем Сесиль, был уверен, что крыса знала о нас столько же, сколько мы о ней, она и сейчас сознавала наше присутствие в комнате, так же как мы сознавали ее присутствие под комодом. Сесиль хотела что-то сказать, как вдруг с лестницы донеслись знакомые звуки, топот маленьких ног и автоматные очереди. Эти звуки вернули меня к жизни.

Адриан был в своем репертуаре, распахнул дверь ударом ноги и впрыгнул, низко пригнувшись, держа воображаемый автомат у бедра. Он осыпал нас градом резких гортанных звуков, мы прижали указательные пальцы к губам, показывая, чтоб замолчал. «Вы убиты, оба», — сказал он и собрался сделать колесо поперек комнаты. Сесиль зашикала и замахала рукой, подзывая его к кровати. «Чего шшш? Совсем, что ли?» Мы показали на комод. «Крыса», — сказали мы. В ту же секунду он был на коленях, всматривался. «Крыса? — выдохнул он. — Фантастика, здоровая какая, ты смотри. Фантастика. Что вы с ней будете делать? Давайте поймаем». Я бросился к камину и схватил кочергу, понял, что возбуждение Адриана вытеснит мой страх, создаст иллюзию, будто под комодом просто жирная крыса, а ее ловля — просто азартная игра. Сесиль опять застонала. «Зачем тебе кочерга?» И я почувствовал, как пальцы сами собой разжались, это не просто крыса, не просто азартная игра, мы оба это знали. Адриан тем временем подзадоривал: «Ага, кочергой ее, кочергой». Адриан помог мне принести книг из другого угла комнаты, мы огородили ими комод, оставив крысе узкий проход посередине. Сесиль не унималась: «Что ты делаешь? Зачем тебе книги?» — но с кровати сойти не рискнула. Зато когда мы покончили с книжной оградой и я протянул Адриану вешалку, чтобы он начал выгонять ею крысу, Сесиль подскочила ко мне и стала вырывать из рук кочергу. «Отдай», — крикнула она, повисая на моем левом предплечье. В эту секунду крыса шмыгнула в оставленный ей проход между книг, нацелилась прямо на нас, и мне почудилось, что я вижу ее зубы, оскаленные и клацающие. Мы бросились врассыпную, Адриан запрыгнул на стол, Сесиль и я — на кровать. Теперь у всех было время рассмотреть крысу (она задержалась на миг посреди комнаты, но тут же устремилась дальше), оценить, какая она сильная, жирная и проворная, как подрагивает все ее тело, как хвост скользит за ней следом услужливым червем. Она нас знает, мелькнуло в моей голове, она нас хочет. Я не мог себя заставить взглянуть на Сесиль. Заносся кочергу и прицеливаясь, слышал, как она завизжала. Кочерга угодила в пол в нескольких сантиметрах от вытянутой крысиной морды. Крыса на ходу развернулась и убежала обратно в проход между книгами. Было слышно, как она царапает пол когтями, устраиваясь под комодом.

Я разогнул проволочную вешалку, распрямил ее, сложил пополам и передал Адриану. Он притих и был немного напуган. Его сестра присела на кровати, снова обхватив руками колени. Я стоял в полуметре от ограды из книг, сжимая кочергу обеими руками. Опустив глаза, увидел свои бледные голые ступни, представил впивающиеся в них оскаленные крысиные зубы, выгрызающие ноготь. Крикнул: «Подожди, дай мне надеть ботинок!». Но куда там, Адриан уже шурувал проволокой под комодом, и я не стал рисковать. Только чуть согнул ноги в коленях, как отбивающий в бейсболе. Адриан забрался на комод и пырнул проволокой в самый угол. Он начал мне что-то кричать, но я уже не слышал. Из прохода между книгами выскочила разъяренная крыса, она мчалась прямо на мои ступни, мстить. Мне больше не чудилось, что у нее оскалены зубы, — они действительно были оскалены. Я махнул кочергой, попав ей точно под брюхо, подбросил вверх, она перелетела через всю комнату, подгоняемая протяжным воплем Сесиль (сквозь прижатые ко рту ладони), и, когда с хрустом врезалась в стену, я подумал: «Должно быть, это сломался хребет». Она шлепнулась на пол кверху лапами, лопнув посередине, как спелый фрукт. Сесиль не отнимала ладоней от лица, Адриан не спрыгивал с комода, я не изменил положения после удара, никто не дышал. Слабый запах пополз по комнате, запах плесени и утробы — так пахла во время месячных Сесиль. Потом Адриан пукнул и засмеялся, приходя в себя от испуга, и его запах смешался с запахом крысиных потрохов. Я подошел и аккуратно потыкал крысу кочергой. Она перекатилась на бок, и из огромной, от края до края, трещины на ее животе сначала показалась, а затем выскользнула, частично освобождаясь из плена подбрюшья, прозрачная лиловая сумка с пятью бледными, свернутыми калачиком силуэтами. Когда сумка коснулась пола, я уловил движение, дернулась, все еще на что-то надеясь, лапка одного нерожденного крысенка, но мать была безнадежно мертва, и для него тоже все кончилось.

Сесиль опустила перед крысой на колени, мы с Адрианом вытянулись с боков, как почетный караул, точно стоять на коленях в длинной, стелющейся по полу красной юбке было ее исключительным правом. Средним и большим пальцами она раздвинула края трещины, втокнула сумку внутрь и стянула заляпанную кровью шкурку. Она склонилась над крысой, а мы склонились над ней. Потом она вынула

несколько тарелок из раковины, чтобы помыть руки. Теперь всем хотелось на улицу, и Сесиль завернула крысу в газету, а мы снесли ее вниз. Сесиль подняла крышку мусорного бака, и я осторожно опустил туда сверток. Тут я вспомнил про угря, сказал, чтобы меня подождали, и побежал обратно наверх. Угорь так и лежал под тонким слоем воды, совсем неподвижно, и я решил, что он тоже мертв, но, поднимая ведро, уловил его шевеление. Ветер стих, и солнце пробивалось сквозь тучи, мы дошли до набережной, переходя из тени в свет. Прилив продолжался. Мы спустились по каменным ступеням к самой кромке воды, и я выпустил угря, который тут же пропал из виду, лишь блеснуло белое брюшко в бурой воде. Адриан попрощался, и мне показалось, что он хочет обнять сестру. Но он лишь потоптался и убежал, выкрикнув что-то через плечо. Мы крикнули ему вслед, чтобы он хорошо отдохнул. По дороге назад остановились взглянуть на фабрику на другой стороне реки. Сесиль сказала, что больше туда не пойдет.

Мы забросили матрас на стол и легли перед открытым окном лицом к лицу, как в начале лета. Легкий ветерок приносил в комнату едва уловимый дымный запах осени, и на душе стало спокойно и ясно. Сесиль сказала: «Давай вечером приберемся и пойдем далеко-далеко по насыпи вдоль реки». Я положил ладонь на ее теплый живот и сказал: «Давай».

Обличья

Мина, та Мина. Нынче сама нежность (и очки с толстыми линзами), не говорит, а мурлычет, вспоминая свое последнее появление на сцене. Злобная Гонерилья в театре «Олд-Вик», никому не давала спуска, хотя друзья уверяли, что уже тогда была не в себе. В первом акте не могла без суфлера, в антракте наорала на провинившегося рабочего сцены, полоснув его своим алым ногтем чуть ниже и правее глаза (на щеке осталась царапина). Король Лир бросился на защиту (на прошлой неделе пожалован рыцарским званием; для плебса чуть ли не божество), и режиссер бросился на защиту, замахал на Мину программкой. «Придворный лизоблюд!» — прошипела она одному и «Закулисный сводник!» — другому, плюнула обоим в лицо и отыграла еще один спектакль. Пошла навстречу, чтобы успели ввести замену. Последний вечер Мины на сцене: как величественна была она, проносясь из кулисы в кулису, набирая обороты — паровоз в тоннеле белого стиха, — как вздымалась в истошном вопле ее высокая грудь (своя, а не накладная!), сколько в ней было бесстрашия. В самом начале уронила в первый ряд искусственную розу (словно невзначай), а когда Лир объявил о своем решении, такое творила с веером, что по залу побежал хохоток. Зрители, эти искушенные интеллектуалы, поверили ее наигранному отчаянию, поскольку знали, что для Мины это прощальный спектакль, и во время поклонов хлопали ей с особым энтузиазмом (под конец она разрыдалась и бросилась в гримерную, картинно прижав тыльную сторону ладони ко лбу).

Через два дня умерла Бриани, ее сестра, мать Генри, и Мина, спутав последовательность событий, убедила Мину за чаем на поминках (и так потом и говорила друзьям), что оставила сцену ради сына сестры, мальчика десяти лет, который нуждался (так Мина говорила друзьям) в матери, Реальной Матери. А Мина была сюрреальной.

В гостиной своего дома в Ислингтоне она притянула племянника к себе, прижав его прыщавую мордашку к груди (теперь приподнятой лифом и надушенной), и повторила ту же мизансцену на другой день в

такси по пути к Оксфорд-стрит, где ему был куплен флакон одеколона и курточка Фаунтлероя^[21] с кружевной отделкой. В следующие месяцы она позволила ему отрастить волосы, чтобы закрывали уши и воротник (на манер начала шестидесятых), и просила выходить к ужину в разных нарядах (о чем, собственно, и рассказ); показала, из каких бутылок в баре смешивать ее вечерний коктейль, наняла педагога по скрипке, а заодно и учителя танцев; в день её рождения явился портной снять размеры для пошива рубашки, а следом фотограф с зашкаливающим от учтивости голосом. Фотографу были заказаны выцветшие и стилизованно-пожелтевшие снимки Генри и Мины в старинных костюмах у камина, и все это (объяснила Мина Генри), все это — отличная подготовка.

Подготовка к чему? Генри не задал этот вопрос ни ей, ни себе — был не из тех, кто докапывается до сути или схватывает вещи интуитивно, свою новую жизнь и это любованье им принимал как данность, как следствие одного вполне конкретного факта — смерти матери. Правда, всего через каких —нибудь шесть месяцев воспоминания о ней стали также призрачны, как свет далекой звезды. Изредка его интересовали детали. Когда фотограф, неловко пропятившись через всю комнату, упаковал свою треногу и откланялся, Генри спросил у Мины, закрывшей за ним входную дверь: «Почему у него такой смешной голос?» Ответ его удовлетворил, хотя значения сказанного он не понял. «Полагаю, мой милый, потому что он педераст». Фото вскоре доставили, тщательно запакованные, и Мина бросилась через кухню за очками, взвизгивая, хихикая, раздирая жесткую коричневую бумагу пальцами. Снимки были в позолоченных овальных рамах, она передавала их Генри через стол. По краям желтизна вытерлась до белизны, стала дымкой, изысканной и обманчивой; сквозь нее проступал Генри, тусклый, бесстрастный, с прямой спиной и рукой, лежащей на плече Мины. (Она сидит на фортепьянном табурете, юбки разметались вокруг, голова чуть откинута назад, губы слегка надуты, волосы собраны в черный пучок на затылке у самой шеи.) Мина смеялась от возбуждения, сменила очки, чтобы полюбоваться на снимки издали; поворачиваясь, опрокинула крынку с молоком; засмеялась пуще, отпрянув вместе со стулом, опередив белые ручейки, побежавшие на пол между разведенных ног. И в промежутках между смехом: «А ты что скажешь,

мой милый? Разве не блеск?» — «Ну, так, — сказал Генри. — Вроде нормально».

Отличная подготовка? Мина и сама не знала, что она имела в виду, но если ее спросить, сказала бы: «К сцене», — без нее Мина не мыслила жизни. Вечно на сцене, даже когда одна: зрители смотрят, и каждый ее жест — для них, своеобразное суперэго, только бы не разочаровать ни публику, ни себя, и у стона, с которым вечером она падала в постель от усталости, всегда были законченность и подтекст. И утром в спальне, садясь за макияж перед небольшим зеркалом в обрамлении голых лампочек, она спиной чувствовала на себе тысячи взглядов, держалась с достоинством, любое движение доводила до конца, точно была уверена в его неповторимости. Генри же, не обладая способностью видеть невидимое, ошибочно истолковывал ее мотивы. Когда Мина пела, или всплескивала руками, или танцевала по комнате, когда покупала зонтики от солнца и новые наряды, когда говорила с молочником голосом молочника или когда просто несла блюдо из кухни к обеденному столу в гостиной, держа его высоко перед собой, насвистывая сквозь зубы военный марш, притоптывая ступнями в нелепых балетных тапочках, которые всегда носила вместо домашних, — Генри полагал, что все это исключительно для него. Он терялся, даже слегка страдал — надо ли хлопать? Как следует себя вести? Может, включиться в игру, чтобы Мина не подумала, будто он бука? Случалось, он заражался ее задором, включался, скакал вприпрыжку по комнате в порыве дикарского восторга. Затем, угадав во взгляде Миной явное неодобрение (это ее бенефис, театр одного актера), тушевался, переходил на шаг, семенил к ближайшему стулу.

Конечно, он ее побаивался, но, в общем, не такая уж злая мачеха: к его возвращению из школы всегда бывал накрыт чай (обязательно с чем-нибудь вкусным — пирожными с кремом или теплыми плюшками), и за чаем они болтали. Мина подробно живописала свой день, делясь впечатлениями, откровенничая (больше как жена с мужем, чем как тетка с племянником), тараторила с полным ртом, из которого летели крошки, а над верхней губой постепенно всходил маслянистый полумесяц.

— Видела Джули Франк за обедом в «Трех бочках» — разнесло так, что чуть не приняла ее за четвертую, живет с этим своим жокеем или лошадиным тренером (или кто он там — не знаю), замуж не

собирается, но какая же стерва, Генри. Я говорю: «Джули, зачем ты выдумываешь все эти небылицы про аборт Максина?» (Я тебе рассказывала, помнишь?) А она: «Про аборт? Ах, про аборт. Исключительно ради смеха, Мина, без всякой задней мысли». — «Ради смеха? — говорю. — Я себя чувствовала полной идиоткой, когда ее навещала». А она: «Да что ты говоришь!»

Генри ел эклеры и молча кивал — ему нравилось, что после утомительного дня в школе можно просто сидеть и слушать Минину болтовню, она была прекрасной рассказчицей. Затем, на второй чашке чая, наступал черед Генри, он говорил вяло и без прикрас, вот так: «Сначала была история, потом пение, а потом мистер Картер повел нас на Хэмпстедский холм — сказал, что иначе мы засыпаем, потом была перемена, а после нее был французский, а потом сочинение». Рассказ затягивался, потому что Мина то и дело перебивала: «В школе я обожала историю! Помню...» — а потом: «Вершина Хэмпстедского холма — самая высокая точка в Лондоне, будь осторожен, мой милый, с нее запросто можно свалиться» — и потом: это сочинение, оно у тебя с собой? Почитаешь? Постой, дай устроиться поудобнее, теперь можно. Судорожно ища отговорки, Генри с неохотой доставал из ранца тетрадь, разглаживал страницы, принимался читать — монотонно, точно робот, запрограммированный на застенчивость. «В деревне все обходили стороной замок Серого Крэга, потому что в полночь оттуда раздавались ужасные крики...» В конце Мина топала, аплодировала, кричала, как обычно кричат с галерки, и приветственно поднимала свою чашку: «Пора тебя печатать, мой милый». Теперь была ее очередь: взяв тетрадь, она читала, расставляя нужные паузы, зловеще зависая на гласных, звякая о чашку ложечкой для пущего эффекта, и Генри начинало казаться, что ведь действительно хорошо написано, даже самому жутковато.

Чай с взаимными признаниями затягивался обычно часа на два; потом они расходились по спальням одеться к ужину. С конца сентября к приходу Генри в его комнате разводили камин, мебель отбрасывала на стены дрожащие тени, на постели лежали пиджак с брюками или театральная костюм — в зависимости от того, что Мина выберет для него в тот вечер. Одеться к ужину. Обычно на это отводилось два часа; за это время миссис Симпсон успевала побывать на кухне (отпирала дверь своим ключом, готовила ужин и уходила), Мина — принять

ванну и позагорать под искусственным солнцем в больших черных очках, Генри — сделать домашнее задание, полистать старинные книги, порыться в своей коллекции антикварных вещей. Мина и Генри вместе отыскивали старинные книги и карты в затхлых книжных лавочках рядом с Британским музеем, скупали пустячный антиквариат на уличных распродажах в Кэмдене и на Портобелло-роуд, в магазинах подержанных вещей в Кентиш-тауне. Желтоглазые, вырезанные из дерева слоники (из серии «мал мала меньше»), сохранивший дееспособность заводной поезд из крашеной жести, марионетки с оборванными нитями, замаринованный в банке скорпион. И еще детский театр времен королевы Виктории с изящным буклетом, разъяснявшим, как можно вдвоем разыгрывать разные сценки из «Тысячи и одной ночи». Два месяца они водили выцветшие картонные фигурки по сцене (задники менялись по мановению руки), стучали лезвиями ножей по чайным ложечкам, озвучивая поединки на саблях, — Мина сидела на корточках, натянутая как струна, изредка злилась, если он пропускал свои реплики (а пропускал он их часто), хотя и она свои порой пропускала, и тогда оба смеялись. Мина умела говорить на разные голоса — и за плута, и за господина, и за принца, и за героиню, и за истицу; она пробовала научить и Генри, но безуспешно: у него получались только два регистра: высокий и низкий. Мине картонный театр быстро наскучил, теперь Генри сам раскладывал его у камина и, стесняясь говорить за фигурки вслух, разыгрывал сценки беззвучно. За двадцать минут до ужина он снимал школьную форму, мылся, облачался в приготовленный Миной костюм и выходил в гостиную, где она уже поджидала его в своем наряде.

Мина их собирала — театральные наряды, исторические платья, аксессуары, старую ветошь, — брала что ни попадя и приводила в порядок, ими были забиты три шкафа. Теперь и для Генри тоже. Пару пиджачков с Оксфорд-стрит, а остальное из — под спуда барахла в костюмерных прогоравших театральных студий, спектакли давно не идут, а костюмы пропадают, и какими скорняками пошиты! — такое уж у нее было хобби. На ужин Генри являлся то в солдатском мундире, то в форме мальчика-лифтера из довоенного американского отеля, а то был глубоким старцем, облаченным в нечто среднее между рубищем монаха и лохмотьями пастуха из «Эклог» Вергилия (исполненных однажды речитативом ученицами выпускного класса по тексту в

обработке их старосты, каковой Мина когда-то была). Генри был нелюбопытен, послушен, каждый вечер надевал то, что находил в изножье постели, и нисколько не удивлялся, встречая Мину внизу, затянутую в турнюр или фижмы, акробаткой в обтягивающем комбинезоне с блестками или медсестрой эпохи Крымской войны. Правда, она всегда оставалась собой, не входила в образ под стать наряду, избегала говорить о том, как они оба в них смотрятся, точно одежда для нее вообще не имела значения, а главным было поесть, расслабиться и потягивать из бокала, который Мина научила племянника ей подносить. Генри принял заведенный порядок, полюбил долгое чаепитие и расписанное по минутам уединение, гадал по пути из школы, какой костюм поджидает его на этот раз, мечтал, чтобы на кровати оказалось что — нибудь новенькое. Мина была таинственна, никогда не проговаривалась за чаем, не хотела портить сюрприз, улыбалась, думая о своем, пока он готовил для нее коктейль и наливал себе лимонад, стояла, завернувшись в обнаруженную недавно мантию, безмолвно поднимала бокал, символически чокаясь с ним через всю огромную комнату. Поворачивала его спиной, прикидывая на глаз, где потребуется ушить очередной наряд, затем приступала к чайной церемонии, обычной болтовне и рассказам о том времени, когда выступала на сцене, или из жизни других людей. Все это было странно, но для Генри естественно, даже уютно (особенно зимой).

Как-то вечером, отправившись к себе после чая, Генри открыл дверь комнаты и обнаружил, что поперек его кровати лицом вниз лежит девочка. Подойдя ближе, он увидел, что это не девочка, а всего лишь узкое вечернее платье, парик из длинных белокурых волос, белые колготы и черные кожаные босоножки. Он прикоснулся к платью, затаив дыхание, — холодное, пугающе шелковое, оно все зашуршало, когда Генри его поднял, сплошь оборки и рюши, наслоения белого сатина и кружев с розовой отделкой, аккуратный бант на спине. Он опустил его обратно на кровать, ничего более девчачьего в жизни не видел, отер о штаны ладони, не решаясь дотронуться до парика, который казался живым. Только не это, только не ему, неужели Мина серьезно? Он в растерянности постоял у постели, взял в руки белые колготы — их уж точно нет. Можно быть в обличье солдата, римлянина, пажа, кого угодно, только не в обличье

девчонки, быть девчонкой неправильно. Как и все его приятели в школе, Генри игнорировал девочек, избегал их шушуканий и интриг, их смешков и намеков, а все эти дефиле за ручку по коридору, и записочки, и сюсю-мусю вызывали в нем чуть ли не скрежет зубовой. В смятении Генри походил по комнате, потом сел за стол и попробовал поучить французские слова: *armoir* шкаф *arrnoir* шкаф *armoir* шкаф *armoir*?.. Он ежеминутно оглядывался через плечо в надежде, что вещи исчезнут с кровати, но они не исчезали. Остается двадцать минут до обеда, это неправильно, он не может в такое переодеться, но и нарушить ритуал нельзя, и уже слышно, как Мина поет после ванны в соседней комнате, накладывая макияж на лицо. Возможно ли попросить у нее другой наряд? Но ведь она специально сегодня за ним ходила, а вчера жаловалась на дороговизну париков и как трудно найти хорошие... Присев на краешек кровати подальше от платья, с трудом сдерживая слезы, он впервые за все это время осознал, как ему не хватает матери, такой надежной, всегда ровной и одинаковой, работавшей секретарем-машинисткой в Министерстве транспорта. Он слышал, как Мина идет по коридору мимо его двери, спускается вниз и уже, наверное, ждет; начал расшнуровывать ботинок — и бросил, нет, ни за что. Мина позвала снизу своим обычным голосом: «Генри, мой милый, ты скоро?» — и он крикнул: «Сейчас». Но не мог пошевелиться, не мог дотронуться до этих вещей, не хотел даже понарошку выглядеть девочкой. Раздались шаги на лестнице, она идет проверить, он стянул с ноги ботинок, чтобы хоть как-то облегчить свою участь, но положение было безнадежным.

Она вошла в его комнату в костюме, которого он раньше не видел: офицерский мундир, безупречный, подтянутый, с узкими эполетами и красной полосой вдоль штанин, волосы зачесаны назад (возможно, набриолинены), ботинки сверкают, а на лице с тяжелыми мужскими чертами едва заметные усики. Мина решительно устремилась к нему: «Ну, мой милый, ты, оказывается, даже не приступал, дай-ка я тебе помогу, все равно там надо затягивать сзади», — и она ослабила узел на его галстуке. Генри стоял, точно окаменев, не сопротивляясь, а она со знанием дела стянула с него рубашку, брюки, второй ботинок, носки и, что удивительно, даже трусики. Вымылся ли он? Держа за запястье, она затянула Генри в ванную, пустила теплую воду, протерла лицо

губкой, отжала, стала тереть всюду как исступленная, точно совершала некий обряд. Он стоял нагишом посреди комнаты, как в кошмарном сне, а Мина рылась в вещах на его кровати, пока не нашла то, что искала; повернулась, держа в руках белые дамские панталоны, и Генри сказал про себя: «Нет», — но Мина уже опять была рядом. Встав перед ним на колени, она заодно сказала: «Подними ногу» — и похлопала его по икре тыльной стороной ладони, но он не шелохнулся, замер, напуганный нотками нетерпения в ее голосе: «Давай, Генри, ужин стынет». С трудом ворочая языком, он выдавил из себя: «Я их не надену». Еще мгновение она продолжала стоять, согнувшись у его ног, но потом вдруг выпрямилась, больно, злобно вцепилась в плечо, посмотрела прямо в глаза, точно собираясь ужалить взглядом. Она была загримирована под старика, подрисованные тут и там глубокие морщины растянулись от гнева вместе с нижней губой, обнажив зубы; его охватила дрожь — сначала в коленках, потом по всему телу. Она тряхнула его за плечо, прошипела: «Подними ногу» — и ждала, пока исполнит, но, двинувшись, он как — то сразу обмяк, и по ноге потекла тонкая струйка мочи. Она снова подтащила его к раковине, быстро вытерла ногу полотенцем и сказала: «Сейчас же», — и от ужаса, от унижения Генри потерял волю к сопротивлению, поднял одну ногу, потом другую, покорился холодному объятью платья, натянутого через голову, зашнурованного на спине, и колготкам, и кожаным босоножкам, и, наконец, тугому парику — золотистые локоны упали на глаза, свободно рассыпались по плечам.

Он увидел ее в зеркале — гадкую смазливую девочку, — отвернулся и понуро поплелся за Миной, шурша шелками и продолжая дрожать. Мина же выглядела теперь беспечной, примирительно подшучивала над его недавним упрямством, рассказала про свой поход куда-то (кажется, на ярмарку в парк Баттерси), и даже Генри, несмотря на смущение, догадался, что это ее возбуждение вызвано им, его близостью, его видом; дважды за время ужина она вставала, подходила к нему, целовала, тискала, разглаживала складки на платье: «Все забыто, все забыто». Позже, выпив три бокала портвейна, Мина развалилась в кресле и несколько раз подзывала его, как пьяный солдат потаскушку, сажала на офицерское колено. Генри старался держаться подальше, в животе все сжималось от ужаса, стоило только подумать, что Мина... Это она в образе или просто свихнулась? Он не мог

решить, но игру в переодевание раз и навсегда разлюбил; в том, как она трясла его за плечо, как зашипела, было что-то темное, порочное, и, подчиняясь ее диктату, Генри гнал от себя эту мысль. К концу вечера, избегая Мининых рук, норовивших снова усадить его на колени, ловя свое отражение в многочисленных зеркалах гостиной (из каждого на него смотрела смазливая девочка в нарядном платье), он сказал себе: «Всё для нее, ничего не значит, всё она, я вообще ни при чем».

Эта темная загадочная ее сторона страшила Генри. В остальном Мина ему нравилась: была другом, часто смешила, не командовала. Уморительно имитировала голоса и, разойдясь во время рассказа (что случалось нередко), разыгрывала его по ролям, превращая гостиную в сцену.

— Решив окончательно и бесповоротно, что она бросает мужа, Дебора направляется напрямик на автобусную остановку. — Пританцовывая и размахивая руками, Мина выходит на середину комнаты. — И только там понимает, что попала в обед и сейчас из деревни не уехать. — Приложив ко лбу руку козырьком, Мина делает вид, будто высматривает автобус, затем хлопает себя по губам — рот открыт, глаза широко распахнуты, догадка озаряет ее лицо, как солнце, вышедшее из-за туч. — Тогда она решает вернуться домой и пообедать. — Снова короткий танец. — А дома за столом муж, и перед ним две пустые тарелки; он отрывает и говорит: «Я думал, ты меня бросила, поэтому съел твою порцию...»

Мина упирает руки в боки и буравит Генри ненавистным взглядом, будто он и есть этот самый муж (и Генри гадает, не надо ли ему подыграть: развалиться на стуле и рыгнуть). Но нет, Мина уже хохочет, давая понять, что рассказ закончился (она всегда смеется в конце). Временами Мину показывали по телевизору, чем Генри очень гордился, хоть это была всего лишь реклама: чаще всего она появлялась в обличье домохозяйки, знающей толк в стиральных порошках (бигуди под косынкой, болтает о чем-то с соседками у забора, одна из них наклоняется и спрашивает про ее простыни, в чем секрет белизны, и Мина объясняет с типичным южнолондонским прононсом). Мина специально взяла напрокат телевизор, чтобы смотреть себя в рекламе, они с Генри садились перед ним с программой и ждали ее появления. Дождавшись, смеялись. А потом

Мина сразу же её выключала. Лишь тогда они смотрели еще что-нибудь, но ее почти сразу начинали раздражать актеры: «Бог ты мой! Это же Пол Кук! В мое время он полы подметал в Ипсвичском репертуарном театре». Она вскакивала с кресла, уносила на кухню, по дороге выдергивая из розетки шнур, и Генри еще некоторое время сидел один, глядя на гаснущую белую точку в центре экрана.

Однажды незадолго до Рождества, возвратившись из школы продрогшим и позже обычного, он обнаружил на столе рядом со своей чашкой (Мина намеренно положила так, чтобы нельзя было не заметить) стопку гладких белых пригласительных билетов, на которых изящным каллиграфическим почерком, витиеватым и стройным, было отгиснуто: Мина и Генри приглашают вас на маскарад.

Вход только в костюмах. Подтвердите присутствие. Генри прочел несколько билетов (даже собственное имя выглядело на них незнакомым) и посмотрел через стол на Мину, которая наблюдала за ним, пряча улыбку в уголках губ, предвкушая его восторги. Радуюсь, но не желая этого показать из страха, что она заподозрит его в неискренности, Генри сказал с деланным равнодушием: «Очень мило», — хотя это было не то, совсем не то, что он чувствовал: в жизни не участвовал в маскараде, в жизни не видел своего имени на пригласительных билетах. Что-то в Мине мешало в этом признаться, но и молчать было нельзя: «А в каких костюмах?» Поздно: Мина уже хохотала, вскочив со стула, семенила, как балерина на пуантах, подпевая в такт крошечным шажкам: «Мило? Мило? Мило? Мило?» — и, описав по комнате круг, закончила свое па-де — буре на его половине — он не сводил с нее растерянных глаз. Зайдя за стул, взъерошила ему волосы, точно лаская, но вдруг дернула так, что стало больно глазам. «Генри, мой мальчик, бесподобно, фантастично, чудовищно, но только не мило; мило — это не про нас», — не прекращая теребить волосы, пропуская их между пальцев. Он задрал голову, уворачиваясь от ее рук, и она вдруг поймала свое отражение в его огромных, опрокинутых глазах — тотчас смягчилась, обняла в порыве искренней нежности. «Уж мы повеселимся на славу, ты рад? Как тебе пригласительные?» Он снова повертел билеты в руках, серьезно сказал: «Пусть только попробуют не прийти». И уже другим, совсем не ядовитым тоном, наливая ему чай, она объяснила: костюмы должны до неузнаваемости изменить внешность, чтобы никто никого

не узнал. Потом принялась шутить и рассказывать всякие истории про тех, кого собиралась позвать.

После ужина они сидели у камина и разговаривали (Мина в блузке и юбке из диоровской коллекции «Новый образ», вошедшей в моду вскоре после войны, Генри — в курточке Фаунтлероя), как вдруг Мина спросила после затянувшейся паузы: «Ну а ты? Кого ты собираешься пригласить?» Генри несколько минут молчал, перебирая в голове приятелей. В школе он был другим, вел себя иначе: гонял с мальчишками в салочки или долбил футбольным мячом об стенку, а на уроках то и дело вворачивал Миныны словечки, переиначивал ее рассказы, выдавая их за свои, — учителя находили, что он не по летам развит. Приятелей у него было много, но в отличие от большинства одноклассников лучшим другом он так и не обзавелся. А дома, отсиживая очередной драматический этюд Миной, переживая ее дурное настроение, про школу забывал — это были два взаимоисключающих мира: один — большой и свободный, с высокими окнами, линолеумными полами, длинным рядом вешалок для пальто; другой — тесный, его вещи в комнате, две чашки чая и Миныны игры. Описывать Мине свой день было все равно что вспоминать приснившийся сон за завтраком — то ли правда, то ли вымысел; наконец он сказал: «Не знаю, никто не приходит в голову». Разве могут те, с кем он гоняет в футбол, быть в одной комнате с Миной? «Неужели нет никого, кто был бы достоин твоего приглашения?» Генри не нашелся что ответить. Достойные есть, но чтобы изменять внешность, наряжаться — этого он не представлял.

Назавтра она уже не задавала вопросов, делилась своими идеями — их у нее была масса, и все о маскараде. Для пущей таинственности в гостиную необходима полутьма. «Даже ближайшие друзья не узнают друг друга», костюмы будем готовить в секрете, Мина войдет неузнанная, смешается с толпой, расслабится, ведь напитки можно наливать и самим, представляться тоже (имена, естественно, вымышленные), тем более что гости в основном народ театральный, мастера переоблачений и перевоплощений, а суть актерского мастерства (как его понимает Мина) в том и состоит, чтобы каждый раз выдавать себя за другого, представлять, так сказать, в ином обличье. И переведя дух, еще и еще идеи — эти пришли ей в голову, пока она принимала ванну: всюду красные лампочки, пунш по особому рецепту,

какое-нибудь музыкальное попури и, возможно, ароматические палочки. Наконец приглашения были разосланы, все необходимые распоряжения даны, а до маскарада оставалось еще целых две недели, поэтому Мина (а следовательно, и Генри) решила больше о нем не говорить. Поскольку все костюмы племянника были ей знакомы (сама же их и покупала) и в любом из них она бы его сразу узнала, Мина дала ему денег на новый наряд с условием, что выберет сам и сохранит в секрете. Проходив всю субботу, Генри нашел его в лавке старьевщика у станции метро «Хайбери и Ислингтон»: среди фотоаппаратов, испорченных электробритв и пожелтевших книг лежала холщовая маска монстра, похожего на Бориса Карлоффа^[22] (с прорезями для глаз и рта, натягивалась на голову как капюшон). Тонкие упругие волосы торчали в разные стороны, выражение лица было одновременно смешным и удивленным, совсем не пугающим. «Тридцать шиллингов», — сказал продавец. Генри не захватил с собой денег и попросил оставить маску до понедельника — собирался зайти за ней по дороге из школы.

Но в понедельник он не зашел; в понедельник он встретил Линду, и все потому, что парты в классе были расставлены парами, по четыре в ряд, с проходом посередине. Генри только недавно перешел в эту школу и восседал за последней партой один, так уж вышло, все остальные места были заняты. Учебники, карты и пара игрушек занимали весь стол, хорошо сидеть сзади, ни с кем не делиться. Учительница, объяснявшая про меры длины, сказала, что шесть метров — это как от нее до парты Генри, и все обернулись и посмотрели с завистью, конечно, это *его* парта. А в понедельник за ней сидела девочка, новенькая, раскладывала цветные карандаши, как у себя дома. Поймав его взгляд, она опустила глаза и сказала тихо, но твердо: «Меня сюда посадили», — и, нахмурившись, Генри уселся рядом: мало того что посягнули на его территорию, так еще и девчонка! Первые три урока он старается ее просто не замечать, смотрел прямо перед собой, повернуть голову значило примириться, девчонки только и ждут, чтобы на них посмотрели. На перемене вышел из класса первым, спрятавшись под лестницей, выпил молоко (не хотел встречаться с друзьями), дождался, пока в классе никого не останется, вернулся и стал собирать свои вещи с ее половины парты — тендер от механического поезда, старую одежду и прочее, — угрюмо

рассовал все это по двум полиэтиленовым пакетам, положил за ее стулом — пусть знает, на какие жертвы она обрекла. Вернувшись, девочка попробовала робко улыбнуться, прежде чем сесть, — он был резок, подчеркнуто пренебрежителен, отвернулся, потирая руки.

Но настроение — вещь переменчивая, любопытство в конце концов пересилило, он покосился украдкой раз, потом другой, что-то в ней было пронзительное, длинные прямые золотистые волосы, падавшие на плечи и спину, на мягкую шерсть платья; бледная кожа, почти как бумага, только прозрачнее; вытянутый, тугой, напряженный нос, раздувавшиеся, как у лошади, ноздри; испуганные огромные серые глаза. Чувствуя, что ее рассматривают, она зажгла едва уловимые светлячки улыбки в уголках губ, отчего Генри испытал непонятное возбуждение, укол под ложечкой, и поспешил перевести взгляд на доску, смутно догадываясь теперь, почему некоторых девочек называют «очаровательными» (раньше он считал это слово преувеличением — им часто пользовалась Мина).

Взрослея, ты влюбляешься (Генри об этом знал), встречаешь девушку, на которой потом женишься (но только если она тебе нравится), а как быть ему, если большинство девчонок вообще не понять? Но эта не такая (он покосился на локоть, слегка заехавший на его половину парты), эта — хрупкая и особенная; ему захотелось дотронуться до ее шеи или коснуться ногой ее ноги; а может, Генри просто чувствовал себя виноватым за свое утреннее поведение, все было ново, какая-то неразбериха чувств. Урок истории: все рисуют карту Норвегии и раскрашивают ладьи викингов, нацеленные носами на юг. Он тронул ее за локоть: «Можно мне синий карандаш?» — «Синий для моря или синий для неба?» — «Синий для моря». Она выбрала ему карандаш и сказала, что ее зовут Линда; он взял его (стержень был теплым от ее прикосновения), с особой прилежностью склонился над своей картой, процарапал синюю кайму берега, припав к ней чуть ли не вплотную, вслушиваясь в неровный скрип грифеля и слыша в нем: *линда, линда*. Потом вдруг опомнился, шепнул: «Генри», серые глаза расширились, вбирая в себя его имя. «Генри?» — «Да». Напуганный новыми ощущениями, он избегал ее во время обеда, дождался, пока она сядет за стол со своим подносом, и сел за другой; на игровой площадке шумно приветствовал друзей и на неминуемый вопрос: «Ну, что, девчонку себе нашел?» — ответил гримасой

неподдельного отвращения, вызвав общий смех и вернув их расположение. Они по очереди пинали футбольный мяч в ограду площадки, и Генри кричал громче всех, размахивая локтями и кулаками, но когда мяч вылетал за ограду и игра останавливалась, уносился мыслями в класс, представляя, как снова усядется возле своей соседки. Вернувшись, и впрямь увидел ее за партой и ответил легким кивком на приветственную улыбку. Остаток дня время тянулось медленно, Генри томился от скуки, ерзал на стуле, подгоняя урок к концу и одновременно не желая, чтобы он заканчивался, каждую минуту ощущая ее присутствие.

После — занятий он встал на колени за ее стулом, притворяясь, будто роется в пакетах, а на самом деле оттягивая момент расставания. Она сидела за партой, дописывая что-то, не реагируя, и Генри пришлось выпрямиться, кашлянуть и небрежно сказать: «Ну, до завтра», — в пустом классе это прозвучало неожиданно громко. Она встала, закрыла тетрадь: «Хочешь, я один понесу?» Взяв из его рук пакет, первой вышла из класса, они гуськом пересекли пустую игровую площадку (Генри вертел головой, высматривая, не подглядывают ли за ним друзья). У ворот школы стояла женщина в кожаном пальто, с забранными в хвост волосами, молодая и одновременно старая, она наклонилась к Линде и чмокнула ее в губы. Глядя на Генри, сказала: «Это твой новый друг?» Он остановился чуть поодаль. Линда сказала: «Его зовут Генри» — и, повернувшись к нему: «Моя мама»; женщина протянула Генри руку, которую он, приблизившись, очень по-взрослому пожал. «Ну, что, Генри, может, подбросить тебя домой с твоими пакетами?» — выгнув запястье, женщина указала на большую черную машину, стоявшую за ее спиной. Она положила пакеты на заднее сиденье, предложив им обоим сесть вперед, что они и сделали (Линда плотно прижалась к нему, чтобы не мешать матери переключать скорость). Из-за маски, которую он собирался купить, дома его сегодня не ждали, Генри предупредил Мину, что будет позже, почему и принял приглашение на чай, сидел, вжавшись в дверцу, слушая, как Линда рассказывает матери о первом дне в новой школе. Свернув на изогнутую, усыпанную гравием аллею, автомобиль затормозил у большого кирпичного особняка, стоявшего практически посреди леса; за деревьями открывалась длинная, поросшая вереском лужайка, спускавшаяся к озеру. Линда махнула в

ту сторону рукой, обходя дом вокруг. «Там дальше усадьба, называется Кенвуд-хаус, отсюда не очень видно, в ней много старых картин, можно смотреть бесплатно. Есть даже "Автопортрет" Рембрандта, самая знаменитая картина в мире». Генри подумал: «А как же "Мона Лиза"?» — но слова Линды произвели на него сильное впечатление.

Пока мать готовила чай, Линда повела Генри показывать свою комнату — по коридору, устланному мягким ковром, заглушавшим шаги, через вестибюль, к подножию широкой лестницы, разветвлявшейся на полпути ко второму этажу на два подковообразных пролета: в изножье одного стояли старинные напольные часы, в изножье другого — массивный сундук, обитый медной чеканкой. Линда объяснила, что раньше это был сундук для приданого, туда клали подарки невесте, ему четыреста лет. Они поднялись еще на один пролет, неужели им принадлежит весь дом? «Раньше принадлежал папочке, но он уехал, и теперь он мамочкин». — «Куда уехал?» — «Захотел жениться на ком-то вместо мамочки, им пришлось развестись». — «Значит, твоя м... мама получила его в качестве компенсации». Слово «мамочка» выговорить не получилось. Там была настоящая свалка в Линдиной спальне, пол завален настолько, что даже дверь открылась с трудом, игрушечные коляски, куклы, кукольная одежда, игры и детали от игр, большая грифельная доска на стене и разобранная постель, простыни валялись посреди комнаты, подушка вообще в противоположном углу, на столике перед зеркалом пузырьки и расчески, и стены снизу доверху розовые, враждебно-девчачьи, у него даже голова закружилась. «Тебя разве не заставляют убираться?» — «Мы утром дрались подушками. Мне больше нравится, когда беспорядок, а тебе нет?» Сбегая вниз по лестнице вслед за Линдой, Генри подумал: конечно, всегда лучше делать то, что нравится, когда разрешают.

За чаем мать Линды предложила называть ее просто Клэр, и позднее, отвечая на вопрос: «Еще что-нибудь?» — он сказал: «Нет, благодарю, Клэр», от этого Линда поперхнулась и надолго закашлялась, а Генри и Клэр по очереди стучали ей по спине, потом все расхохотались без всякой причины, и Линда схватила его за руку, чтобы не свалиться от смеха на пол. В разгар веселья в дверь кухни просунул голову высокий мужчина, у него были густые черные брови, он улыбался: «Я вижу, вы не скучаете», — и исчез. Надевая пальто

перед уходом, Генри спросил у Линды, кто это, и она ответила: Тео, иногда он у них живет; потом прибавила шепотом: «Спит в мамочкиной постели». Еще недозадав следующий вопрос, он уже его застеснялся: «Зачем?» — и Линда прыснула, уткнувшись в ворох висящих в шкафу пальто. Они снова уселись втроем на переднем сиденье, вжались друг в друга; когда тронулись, Линда предложила хором запеть «Frere Jacques»^[23], и они пели всю дорогу до Ислингтона, да так громко, что на светофорах на них оборачивались из соседних машин и улыбались. Они перестали петь, только когда Клэр затормозила у дома Генри; вдруг стало очень тихо. Он перегнулся назад за своими пакетами, бормоча благодарности и что было очень прия... — но Клэр перебила, спросив, почему бы ему не зайти к ним в воскресенье, и Линда крикнула: «Только на целый день!» — и потом все заговорили одновременно: Клэр — что могла бы за ним заехать, Линда — что поведет его в Кенвуд-хаус посмотреть картины, Генри — что должен спросить разрешения у Мины, но она наверняка разрешит. Линда сжала его предплечье: «До завтра! Увидимся в школе!» — замахала рукой, затянула вместе с матерью новую песенку, потонувшую в грохоте пронесшегося мимо грузовика; он остался на тротуаре один со своими пакетами, подождал немного, прежде чем войти в дом.

Мина сидела, уронив голову на руки, за накрытым к чаю столом. Не шелохнулась, когда он поздоровался; Генри топтался в прихожей, предчувствуя грозу, вешал пальто, шуршал пакетами. Мина еле слышно сказала: «Где ты был?» Он метнул взгляд на часы: без десяти шесть, опоздал на один час и тридцать пять минут. «Я же предупреждал, что вернусь на час позже». — «На час? — произнесла она медленно и с растяжкой. — А прошло уже почти два». Сталь в голосе не сулила ничего хорошего, он почувствовал легкую дрожь в коленках. Сев за стол, вертел в руках чайную ложку, пропихивал ее внутрь неплотно сжатого кулака, пока Мина не зашипела, шумно выдохнув через ноздри. «Оставь ложку в покое! — рявкнула она. — Я спросила, где ты был?» Нетвердым голосом, сбиваясь, он объяснил: мать школьного друга, то есть, ну, в общем, пригласила к себе, к ним на чай и... «Мне казалось, ты собирался за костюмом», — вкрадчиво перебила она. «Я собирался, но...» Генри уставился на свою пятерню на скатерти. «И если ты пошел в гости, неужели так трудно было меня

предупредить? — со всей мочи провонила она. — Телефон-то, слава богу, есть!» Оба молчали, эхо ее вопля еще минут пять металось по всей гостиной, звякало в голове, потом Мина тихо сказала: «Кричи не кричи, бесполезно. Тебе все равно плевать. Иди наверх и переоденься». Он знал, что положение можно исправить, если найти правильные слова, но их-то как раз в голове и не было, а были только те, что перед глазами: побелевшие костяшки сжатых кулаков, узор скатерти — все внимание сосредоточилось на них, вот ничего и не скажешь. Генри понуро поплелся мимо Мины к дверям, она повернулась, поймала его за локоть: «И чтобы на этот раз без выкрутасов» — и оттолкнула. Только поднявшись по лестнице, он задумался, что она имела в виду: без выкрутасов. Очередной костюм, чтобы его унижить, наказать за опоздание, за нарушение заведенного порядка? Он приблизился к девочке, лежавшей ничком на кровати, той же, что раньше. Не задумываясь, скинул с себя одежду, только бы заново не навлечь на себя Минин гнев (а что если, наоборот, нарочно довести ее до кипения? — мгновенная гадостная мысль, которая его сразу же испугала), дрожа, начал натягивать через голову платье, ощущая кожей холодок сатина, и белые колготы — торопливо, чтобы она не подумала, будто он тянет. Расправил тонкие кожаные кружева, липшие к пальцам, нахлобучил парик и подошел к зеркалу оправиться; подошел, глянул на себя и замер, ощутив уже знакомый укол под ложечкой, ибо она теперь была в его спальне — те же волосы, свободно падавшие на спину, та же бледная безупречная кожа, тот же нос. Он взял с полки ручное зеркальце, стал рассматривать свое лицо со всех сторон: глаза у него другого цвета (синее) и нос явно больше. Но первое впечатление (потрясение от первого впечатления) не проходило. Он снял парик, став похожим на коротко стриженного клоуна в женском одеянии, даже засмеялся. Снова надел парик; пританцовывая, закружился по комнате: Генри и Линда, слитые воедино, не рядом (как за школьной партой), не тесно прижавшись (как в машине), а одно — он в ней, она в нем. Платье больше не угнетало, гнев Мины не страшил, в обличье девочки Генри был неуязвим и невидим. Он начал расчесывать парик, стараясь подражать Линде (вернувшись из школы, она расчесывала волосы от кончиков к корню, объяснив, что так они меньше секутся).

Он так и стоял перед зеркалом, когда Мина ворвалась в комнату (тот же офицерский мундир, только лицо суровее), развернула его за плечи спиной к себе, принялась шнуровать платье на лопатках и поясице, всю дорогу мурлыча что-то себе под нос. Расчесав парик, провела рукой по внутренней стороне ляжки, проверяя, какие на нем трусики, и, удовлетворенная, развернула обратно (его снова сковал страх при виде глубоких подрисованных морщин на ее лице, прямых прядей набриолиненных волос). Она нависла над ним, притянула ближе, поцеловала в лоб: «Умница» — и повела за руку вниз, больше не проронив ни слова, сама разлила вино у бара — два полных бокала красного. С легким поклоном вложила один бокал ему в руку и, щелкнув каблуками, произнесла хрипловатым деланным голосом: «За тебя, моя милая». Он взял непривычный бокал, тонкая мутная ножка оказалась недостаточно длинной для детского кулачка, пришлось взять двумя руками. По праздникам Мина смешивала ему простое пиво с имбирным, в остальные дни Генри пил лимонад. Теперь Мина стояла спиной к камину, расправив плечи, держа бокал у плоской груди: «Будем здоровы! — и опустошила его двумя большими глотками. — Попрошу до дна». Он лизнул вино кончиком языка, весь скривился от горечи, потом закрыл глаза, набрал полный рот и запрокинул голову, протолкнув жидкость сразу в глотку, почти не почувствовав вкуса (только послевкусие: ощущение какого-то странного налета на нёбе). Мина допила вино, подождала, пока он допьет свое, взяла пустые бокалы и снова их наполнила, поставила бутылку на стол, пошла за горячим. Чувствуя головокружение, не до конца веря в происходящее, он помог ей принести блюдо из духовки, не понимая причины ее молчания. Сели: Линда и Генри, Генри и Линда. За едой Мина несколько раз поднимала бокал, повторяя: «Будем здоровы!» — и ждала, пока он возьмется за свой, прежде чем отпить; раз она встала и подлила ему еще вина. Теперь все плыло у него перед глазами, вещи струились, вытекали из самих себя, оставаясь при этом на месте, пространство между предметами покачивалось, на миг лицо Мины съехало набок и слилось со своими многочисленными отражениями; он уцепился за край стола, чтобы уравновесить комнату, и понял, что Мина это заметила, увидел ее кривую ободряющую усмешку, увидел, как она медленно смещается за кофейником против вращения комнаты, сошедшей со всех осей, и, если закрыть глаза, если только закрыть

глаза, можно не устоять на краю мира, свалиться в бездну, разверзающуюся у самых ног. И на этом фоне Мина без умолку говорит, Мина что-то пытается выяснить про сегодняшний день, чем он занимался в том доме; для ответа приходится вызволять завалившийся куда-то язык, его собственный голос доносится еле слышно, точно из соседней комнаты, нѣбо вымазано клеем. «Мы, ну... взяли... она нас взяла...»; наконец он сдается, расплющенный Мининым визгом, и лаем, и хохотом: «О, моя бедная девочка слегка наклюкалась», — на этих словах она нависает над ним и, приподняв за подмышки, полунесет-полуволочит к креслу, усаживает к себе на колени, разворачивает (так что голени свисают теперь с подлокотника), обхватывает голову руками, наваливается сверху, напряженная и горячая, как борец, он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, полностью нейтрализован, она вдавливая его лицо между двух лацканов расстегнутого кителя, и, сопротивляясь нарастающему головокружению, он понимает: одно резкое движение — и его стошнит. Имитируя похоть, она плотнее прижимает его лицо к груди, под кителем ничего нет, ничего, кроме щеки Генри, упершейся в сморщенную, слегка надушенную кожу дряблого, стареющего соска, ее ладонь — как ошейник, никуда не деться от этой коричневой заплаты, и рывком нельзя — в желудке настоящий вулкан; он не смог отклониться, даже когда она запела, шаря другой рукой в складках его платья, подбираясь к тыльной стороне бедра, полубормоча-полумурлыча: «Солдату девушка нужна, солдату девушка нужна», едва поспевая за своим сбившимся, частым и одновременно глубоким дыханием, и Генри взлетал и опадал в такт ему, чувствуя, как его прижимают все теснее, и, открыв глаза, увидел синюшную бледность Мининой груди — именно такими, синюшными и бледными, всегда представлялись ему лица покойников. «Тошнит», — шепнул он в ее телеса, и изо рта бесшумно выплеснулась красно-коричневая жижа, смесь выпитого и съеденного — пятнышки цвета на смертельной бледности под мундиром. Он скатился с нее, более не удерживаемый, скатился на пол, и парик съехал набок, белые и розовые кружева платья в кричащих коричневых и красных пятнах; он сорвал парик с головы, отбросил в сторону, сказал (почему-то басом): «Я Генри». Какое — то время Мина еще оставалась в кресле, сидела, уставившись на парик на полу, потом поднялась, переступила через Генри, ушла к

себе; гостиная продолжала вращаться; теперь сверху доносился шум бегущей воды; он не изменил позы, окаменел на ковре, глядя на оплетающие пальцы узоры, с пустым желудком стало полегче, но двинуться с места он не мог.

После ванны Мина спустилась, одетая по-домашнему, вновь став собой, помогла ему подняться, довела до камина, расшнуровала платье, которое тут же отнесла на кухню и замочила в ведре. Подобрала парик, взяла Генри за руку и показала, как ходят наверх по ступенькам, напевая, точно младенцу: «И-и раз, и-и два, и-и три...» В спальне он стоял, уперев лоб ей в плечо, а Мина стаскивала с него остатки одежды, искала пижаму и говорила без умолку про то, как когда *она* впервые напилась, то наутро *ничегошеньки* не помнила; Генри не уловил смысл рассказа, но тон был успокоительный, такой же домашний, как ее платье, он навзничь упал на кровать, и ее рука легла ему на лоб, ненадолго остановив кружение, а Мина повторяла речитативом слова песенки, которую напевала вниз: «Солдату девушка нужна, как льву его густая грива: чтоб согреть во время сна и на ухо шептать игриво». Она стала гладить его по волосам, а когда на другой день он открыл глаза, парик лежал рядом на подушке — должно быть, сполз ночью с головы.

Проснувшись, Генри подумал о Линде, и что болят надбровья, и что, судя по некоторым признакам, утро уже прошло. Мина спросила снизу: «Будешь обедать? Я решила дать тебе выспаться», но он оделся для школы, сорвал с вешалки рюкзак, юркнул за дверь и перебежал на другую сторону улицы. Мина выскочила следом, крича, чтобы вернулся, влажный ветер ворошил волосы, вчерашний вечер помнился смутно, но осталась уверенность, что отныне Мина утратила над ним свою власть, ее голос таял вдали, убежать от него теперь ничего не стоило. Скорее к Линде. В школе он объяснил свое опоздание недомоганием (в сущности, даже и не соврал, был так бледен, что ему сразу поверили). Прямоком за парту к началу послеполуденных занятий, где она расплылась в улыбке при его появлении, сунула в руку записочку, клочок со словами: «Придешь в воскресенье?» Он написал на обороте «да» с тем же ощущением вседозволенности, с каким выбежал сегодня из дома, передал ей под партой, на мгновение-другое их пальцы встретились и переплелись, пока она выцарапывала из ладони записку. Под ложечкой — укол, в паху — легкое шевеление,

прилив крови, и крайняя плоть распускается, как весенний цветок, утыкаясь в складки одежды, и записка падает на пол, никем не замеченная.

Можно ли ей рассказать про отражение в зеркале, про Генри и Линду, слившихся воедино, про то, как, увидев это, он ощутил себя свободным, как закружился в танце, пока Мина не вошла в комнату? Он хотел, но как рассказать, не объяснив про Мину и про игры, которые не совсем игры, с чего начать? Сначала лучше про маску, которую он купит сегодня вечером (это, вообще-то, монстр, но больше смешной, а не страшный), а потом, естественно, про маскарад, про его имя на пригласительных рядом с именем Мины, и как все будут в обличьях, и никто никого не узнает, и, значит, можно делать что хочешь. Они были на игровой площадке, опустевшей к этому часу, фантазировали, что можно сделать, когда тебя никто не знает. А ей бы не хотелось прийти? Еще бы, конечно хотелось. С дальнего конца площадки к ним шла ее мать, она чмокнула Линду, положила руку Генри на плечо, они вместе пошли к машине. Линда рассказала матери про маску Генри и про маскарад, Клэр разрешила ей пойти, почему бы нет, звучит заманчиво. Они попрощались.

В магазине он не сразу смог отдышаться, бежал сломя голову, боялся снова опоздать домой к чаю. Мужчина за прилавком давно выработал особую манеру общения с малышней — бодрую, с нелепыми шуточками. «Где пожар?» — спросил он, когда Генри влетел с улицы. Генри нетерпеливо выпалил: «Я за маской». Мужчина медленно навалился на прилавок, держа очередную шуточку наготове. «А ты разве не в ней?» — он смотрел за выражением лица Генри, ждал ответной реакции. Генри улыбнулся из вежливости: «Вы сказали, что отложите для меня». — «Ну-ка, ну-ка, — с преувеличенным вниманием всматриваясь в цифры на календаре, — если не ошибаюсь. — глубоко вздохнув, растягивая слова, — если не ошибаюсь, сегодня вторник». Он расплылся в лучезарной улыбке, изогнул брови домиком, наслаждаясь нарастающим беспокойством маленького покупателя («Но вы ее еще не продали?»), и, не опуская бровей, выставил вверх указательный палец — остряк-самоучка во всем блеске собственного идиотизма: «Хороший вопрос: не продал ли я ее?» Преподав Генри этот урок жестокости, он запустил руку под прилавок («Давай-ка посмотрим, что у нас тут имеется») и вытащил

маску, ту самую, маску Генри. «Вы не могли бы ее завернуть: понимаете, ее никто не должен видеть». Мужчина был немолодой (Генри только сейчас это заметил и, заметив, сразу его пожалел). Он тщательно завернул маску в два листа плотной коричневой бумаги и сунул сверток в старенькую авоську, чтобы удобнее было нести. Все это, не проронив ни слова, и Генри подумал: уж лучше бы продолжат свои дурацкие шуточки. Последнее, что он сказал, было: «Держи», — передавая Генри авоську через прилавок. Уходя, Генри громко попрощался, но мужчина уже успел уйти в подсобное помещение и вряд ли услышал.

Мина ни словом не обмолвилась о вчерашнем вечере; нарезая торт, болтала много и быстро, шутливо намекнула на его утреннее бегство из дома, вела себя как обычно. В кухне Генри увидел платье в ведре с водой, похожее на диковинную мертвую рыбину. Он заговорил, сбиваясь: «Меня тут один друг, в смысле его родители, пригласили на воскресенье к себе». Мина слушала холодно: «Вот как. Я его видела? Почему бы тебе не позвать его к нам на маскарад?» — «Я и позвал, а они пригласили меня в это воскресенье». Почему он старался скрыть, что его друг — девочка? Мина ответила уклончиво: «Там видно будет», — но Генри не отставал, пошел за ней, как приклеенный, из гостиной на кухню: «Понимаешь, я должен дать ответ не позднее завтра», — твердо, настойчиво. Повисла пауза. Она улыбнулась, смахнула волосы, лезшие ему на глаза, сказала дружелюбно и примирительно: «Думаю, нет, мой милый. Ты же вчера почти не занимался», — мягко подтолкнула к лестнице, но он увернулся: «Но они же звали, я хочу пойти». Мина буквально светилась: «Нет, мой милый, лучше не стоит». — «Но я хочу». Она убрала руку с его плеча, села на нижнюю ступеньку, упершись подбородком в колени, надолго задумалась, а потом: «А мне что прикажешь делать в воскресенье, пока ты будешь развлекаться со своими друзьями?» Какой неожиданный поворот: минуту назад был просителем и вдруг стал давателем, он стоял, а она сидела у его ног, что тут скажешь, он онемел. Выждав немного, Мина сказала: «Ну?» — протянув к нему руки; он чуть придвинулся, дал ей возможность взять его ладони в свои; она смотрела на него из — под очков, потом сняла их, и он увидел, как ее глаза набухают влагой. Это нечестно, ужасно — возлагать на него такой непосильный груз, неужели Генри ей

настолько важен? Она стиснула его руки. «Ладно, — сказал он, — я не пойду».

Она попыталась притянуть его ближе, но он вырвался и, обогнув ее, убежал наверх. Переложил коричневый костюм с кровати на стул, плюхнулся на спину, стараясь не думать о Линде, чувствуя себя виноватым. Вошла Мина, села у изголовья, заглянула ему в лицо (он смотрел сквозь нее, не хотел снова увидеть слезы), она теребила край одеяла, пощипывая его большим и указательным пальцами. Убрала ладонью прядку с его лба, принялась расчесывать волосы, он внутренне сжался, ждал, когда закончится эта пытка, не любил, когда прикасались к лицу, сейчас особенно. «Ты сердишься на меня, мой милый?» Он повертел головой, по — прежнему избегая смотреть ей в лицо. «Сердишься, я же вижу». Теперь она стояла у стола, взяв с него недоструганный брусок, он возился с ним уже несколько месяцев, вырезал рыбу-меч, но никак не мог вдохнуть в нее жизнь, придать туловищу требуемый изгиб, брусок так и остался бруском, детской поделкой, отдаленно напоминавшей по форме рыбу. Мина все вертела и вертела его в руках, разглядывая, но не видя. На потолке была огромная лестница, разветвлявшаяся на полпути на два подковообразных пролета, и Линда дралась подушками с Клэр у себя в спальне (Клэр, наверное, хотела отвлечь Линду перед первым днем в новой школе), и высокий мужчина с густыми бровями спал в одной постели с Клэр. Мина сказала: «Тебе ведь хочется пойти, правда?» Генри сказал: «Это не имеет значения, подумаешь, не так важно». Мина покрутила деревяшку в руке: «Раз хочется — иди». Генри сел на кровати, он был еще слишком мал, чтобы распознавать особые игры взрослых, слишком мал и поэтому сказал: «Хорошо, тогда я пойду». Мина вышла из комнаты, в забывчивости унеся с собой недоволенную рыбу.

Генри приподнял и отпустил тяжелое дверное кольцо; оно стукнулось о белую дверь. Клэр провела его по темному коридору на кухню. «По воскресеньям Линда любит поваляться в постели, — (они вошли в залитую светом кухню), — сейчас ты пойдешь к ней играть, но сперва мы поговорим, и я угощу тебя какао». Клэр помогла ему снять пальто, он повертелся, с разных сторон демонстрируя новенький костюм, которым она восхитилась: «Для игры мы тебе подберем что-нибудь попроще». Она сварила ему какао, завела разговор, он охотно

втянулся, не ожидая подвоха. Ей приятно, что они с Линдой подружились, — так она сказала, — и еще, что Линда постоянно о нем говорит: «Даже нарисовала твой портрет и сделала карандашный набросок, только не проси — не покажет». Попросила рассказать про себя, и он рассказал, как любит собирать всякую дребедень в антикварных лавочках, про картонный театр и старинные книги и потом про Мину, какая она отличная рассказчица, но это потому, что раньше выступала на сцене, — он еще никогда не говорил так долго и подробно, хотел было рассказать все (про переодевания и как опьянел), но сдержался, не знал, как лучше себя подать, хотел понравиться и боялся, что разочарует, если признается, какой был пьяный и как его стошнило на Мину. Она принесла одежду: светло — голубой свитер и протертые джинсы; вообще-то их носит Линда, не смущает ли это его? Он улыбнулся и сказал, что нет. Она вышла из кухни ответить на телефонный звонок, бросив на ходу, чтобы Генри поднимался к Линде в комнату, и он двинулся назад по темному коридору, ведущему к лестнице (свет почему-то горел только в начале коридора и в конце). Он остановился перед массивным сундуком на площадке между лестничными пролетами, провел пальцем по фигуркам на медной чеканке — впереди процессии богачи (должно быть, родственники жениха и невесты), заполонили всю улицу в своих пышных развевающихся облачениях, полны достоинства, спины прямые, а за ними горожане, простолюдины с винными чашами в руках — еле держатся на ногах, спотыкаются, хватаются друг за друга, хмельные и гогочущие. Рядом оказалась открытая дверь, он заглянул — спальня, таких огромных ему еще видеть не доводилось, большая двуспальная кровать в центре, а не у стены. Несколько шагов внутрь, кровать разобрана, одеяло навалено комом, за ним был виден спящий мужчина, лицо уткнулось в подушку. Генри замер, затем, пятясь, быстро вышел обратно на площадку, бесшумно прикрыл за собой дверь. Вспомнил, что оставил выданную одежду на сундуке, подобрал и помчался по лестнице в комнату Линды.

Она сидела в кровати, рисовала что-то черным карандашом на листе ватмана; когда он влетел, спросила: «Ты чего запыхался?» Генри сел на кровать: «Бежал, там какой-то мужчина спит в спальне, на мертвеца похож». Рисунок сполз на пол, Линда так смеялась, что даже не пыталась его удержать. «Это Тео, я же тебе говорила». Она натянула

простынь до подбородка: «По воскресеньям я рано просыпаюсь, но до обеда не встаю». Он показал ей одежду: «Твоя мама дала, где мне переодеться?» — «Здесь, где же еще. У тебя под ногами вешалка валяется, можешь убрать в шкаф свой костюм». Она натянула простынь еще выше, остались одни глаза, наблюдавшие за тем, как он вешает костюм в шкаф, снова подходит и садится рядом без пиджака и брюк, ощущая голым бедром тепло ее тела под ворохом толстых пледов, наваливаясь всей своей тяжестью ей на ноги, любуясь золотистыми волосами, разметавшимися по подушке. Оба смеются ни с того ни с сего, без всякой причины. Линда выпрастывает руку из-под простыни, тянет его за локоть: «А давай ты тоже ляжешь?» Генри встает: «Хорошо». Хихикая, она ныряет под простыню с головой, голос ее звучит приглушенно: «Только сначала разденься». Генри раздевается и забирается к ней, его тело прохладнее, чем у Линды, и она вздрагивает, когда он ложится, прижимаясь грудью к ее спине. Она поворачивается к нему лицом, в розовой темноте Генри чувствует ее животный, молочный запах, впоследствии только к этому и сведется его воспоминание о том воскресенье: стук сердца, бухающего в подушку, отдается в ухе; он приподнимает голову, чтобы дать ей возможность высвободить волосы; разговор в основном про школу, про ее впечатления от первой недели, про общих друзей и учителей; неужели в тот день они занимались чем-то еще? неужели он надевал джинсы и свитер Линды, обедал, кружил с тысячами туристов по Хэмпстедской пустоши, смотрел на картины, к которым Линда подводила его в Кенвуд-хаус (холодные надменные дамы, их малопривлекательные отпрыски), долго стоял перед Рембрандтом, соглашаясь, что этот автопортрет — самый лучший в музее, а может, и вообще в мире, хотя Линде не нравилась мрачность фона, ей бы хотелось взглянуть на его комнату, потом сидели в летнем домике Сэмюэля Джонсона^[24] (конечно, знаменитый писатель, но что написал и когда?); и назад через пустошь с сотнями других в зимнем сумраке — он вынырнул из-под одеяла, чтобы глотнуть воздуха, а она на миг прижалась лицом к его груди и тут же вынырнула следом, потом просто лежали, касаясь лбами, задремали на полчаса (может, все остальное ему приснилось, такой подробный реалистический сон?). Настоящими были только эти полчаса (или чуть больше) — так ему казалось, когда он лежал ночью дома в своей кровати.

Все вышло не совсем так, как ему представлялось (жизнь никогда в полной мере не соответствует ожиданиям), и в день маскарада выяснилось, что купить красные лампочки она забыла (а теперь поздно — магазины закрыты), и рецепт пунша затерялся где-то в конверте (нет времени искать), поэтому Мина купила ящик спиртного, в основном вина (вино, как она сказала, все любят), а для тех, кто не любит, — две здоровые бутылки сидра. Роль магнитофона исполнял допотопный проигрыватель, одолженный у сына миссис Симпсон (Генри никогда раньше таких не видел), вместо кассет — допотопные пластинки, одолженные у самой миссис Симпсон. Предвкушая долгожданный маскарад, он не раз давал волю воображению: дом становился больше, комнаты выглядели залами с такими высоченными потолками, что гости казались карликами, музыка грохотала со всех сторон, и костюмы у всех были весьма экзотические: иностранные принцы, вурдалаки, капитаны дальнего плавания, и среди них Генри в маске. Теперь они с минуты на минуту ждут гостей, а комнаты такие же, как всегда (да и с чего бы им стать другими?), музыка, заунывно потрескивая, доносится из проигрывателя, а вот и первые гости. Генри распахивает перед ними дверь с выражением испуга на тридцатишillingовом лице, гости в обличье обычных людей — может, они забыли нарядиться? или невнимательно прочли приглашение? Он молча придерживает дверь, а они идут мимо, кивая, не обращая внимания на его маску (как если бы их встречал самый обычный мальчик), — идут по двое и по четверо, сдержанно смеясь и беседуя, наливают себе напитки (смеясь и беседуя все менее сдержанно) — мужчины в серых костюмах и черных костюмах (руки в карманах брюк, раскачиваются, как маятники, перед собеседниками) и женщины (с высокими седыми прическами, с бокалами в тонких пальцах) — все на одно лицо. Мина осталась наверху, хотела спуститься неузнанной, смешаться с гостями в своем новом обличье; он огляделся — может, она уже здесь? — но никто из женщин (равно как и мужчин) не был на нее похож. Он стал ходить между группами беседующих, что-то во всех них было не так, у одного — бедра, у других — плечи, приземистый господин, мимо которого проходил Генри (лысый и надушенный, воротник рубашки слишком широк для тонкой шеи, узел галстука размером с кулак), наклонился к нему и сказал: «Ты, должно быть, Генри, — голос тонкий, но с хрипотцой, —

у тебя на лице написано». Он выпрямился и затрясся от смеха, оглядываясь по сторонам в надежде, что его соседи оценят удачную шутку; Генри переживал — так же, как в магазине, где над ним подтрунивал продавец. Лысый приземистый господин снова повернулся к нему и сказал примирительно, понизив голос: «Тебя, конечно же, рост выдает, мой милый. А меня ты узнал?» Генри отрицательно потряс головой, наблюдая за странными действиями господина, который положил ладонь на макушку и, подцепив большим и указательным пальцами кожу, обнажил не мозг и не голый череп, а волосы, черные волнистые кудри (которые, впрочем, тут же опять прикрыл): «Теперь догадался? Нет?» Господин был обрадован, несомненно обрадован, он наклонился ниже, прошептал Генри на ухо: «Это же тетя Люси» — и поспешно отошел. Люси была одной из тех дам, которые независимо от родства просят называть себя тетями, подруга Мины, заходившая по утрам на кофе; она упрямо уговаривала Генри присоединиться к ее небольшой театральной труппе, хотя он всегда отказывался; Мина (очевидно, ревнуя) категорически возражала, да он и сам не хотел. Но Мина... Кто из этих толстозадых мужчин, кто из этих крепко сложенных женщин она? Или Мина ждет, пока они опьянеют? Он выпил вино через маску, сразу же вспомнив про то, как его вырвало в прошлый раз, и про платье, замоченное в ведре, где оно теперь? Проглотил одним махом, стараясь не почувствовать вкуса, не облизав губ, продолжая искать Мину и ждать Линду, которая вот-вот должна появиться как есть (он сказал, что ей незачем менять обличье: ее никто не знает, а значит, не от кого прятаться). Но был ли этот маскарад, где все они стояли, говорили, шутили, переходили от одной группы к другой, не обращая внимания на проигрыватель, фонивший за гомоном голосов (никто не замечал, что надо сменить пластинку), — был ли этот маскарад таким же, как все маскарады на свете? Он сам поменял пластинку, потянулся за конвертом — ветхим квадратом некогда плотного картона, — как вдруг чья-то рука схватила его запястье, старческая рука, и, подняв глаза, Генри увидел старика, глубокого старца, скрюченного, искалеченного горбом, выпиравшим из-под пиджака, с жиденькой бороденкой на скулах и лоснившейся от жира безволосой полоской над верхней губой, — и вот этот старик схватил его запястье, пожал и отпустил со словами: «Не стоит, все равно никто не слушает». Генри разглядывал

старика сквозь поднятый бокал вина: «Это у вас тоже обличье? Тут все, что ли, в обличье?» Старик показал большим пальцем через плечо на горб, ничуть не обидевшись: «Кому нужно такое обличье?» — «Может, он тоже часть образа, специально подложен или там...» Он замолк, недоговорив, потому что старик повернулся к нему спиной и предложил: «А ты потрогай, потрогай и скажи, подложен или не подложен». Такие вещи исполнимы, только если делать их быстро, заглатывать залпом, как вино. Генри потянулся, дотронулся до спины старика и тут же отдернул руку, но потом, когда старик сказал, что так не проверяют, дотронулся снова и на этот раз потыкал горб пальцем (вообразите: Генри с улыбкой ужаса на холщовом лице, с торчащими во все стороны волосами, с нарисованными губами, смоченными вином, маленький ухмыляющийся монстр, щупающий горб старика, оказавшийся одновременно и твердым и податливым); наконец старик обернулся, удовлетворенный: «Горб есть горб», — и переместился в другой угол комнаты, отдельно от всех, поглядывая с ухмылкой на окружающих и потягивая вино из бокала. Генри наполнил свой бокал и тоже стал потягивать из него, бродя между группами; казалось, все вокруг говорили, голоса нарастали и стихали, накатывали волнами, как стечения органа, от этого закружилась голова и пришлось облокотиться на стол, переждать, где же Мина, где же Линда? Нигде нет, кругом одни незнакомцы, выдающие себя не за тех, кто они на самом деле, болтуны и выпивохи, полагающие, что изменили свою внешность до неузнаваемости, так легче трепать языком, но вести-то себя все равно надо прилично, сколько ни наряжайся, человек — это человек, не ты, так другой, и кому-то придется отвечать, отвечать, за что отвечать? Генри изо всех сил сжал край стола, за который держался уже обеими руками: за что отвечать? О чем он только что думал? Еще вина, еще, необъяснимое беспокойство заставляло подносить бокал к губам каждые десять секунд — потому что его не замечали; потому что вечеринка для взрослых, и он на ней — никто, мальчишка, державший им дверь при входе; потому что все было не так захватывающе, как ему представлялось, — в итоге Генри выпил четыре полных бокала. В дальнем углу комнаты от одной из групп отделился мужчина, попятился с бокалом в руке и рухнул в кресло, оказавшееся у него за спиной. Захохотал, глядя снизу вверх на своих бывших собеседников, которые тоже захохотали, склонясь над ним.

Слова в голове у Генри раскачивались, как огромные цифры на рекламном щите, медленно вспыхивали, если он выпустит стол, то сразу же упадет. Интересно: упадет монстр, а отвечать Генри? Снова забрезжила потерянная ранее мысль: когда ты в чужом обличье и притворяешься не собой, кто отвечает за поступки, которые ты сам, без костюма, никогда бы не совершил... никогда не позволил бы себе совершить? огромные цифры медленно вспыхивали в голове, что-то во всем этом есть: когда Мина переоблачается к ужину и начинает к нему приставать, кем она себя мнит? Платье в ведре, как редкое морское животное; они стоят посреди пустой игровой площадки и выдумывают, что можно сделать в чужом обличье, и Клэр направляется к ним, одновременно молодая и старая; офицер, вытирающий ему ногу полотенцем; мужчина в постели; чернота за головой Рембрандта; Линда перед картиной, говорящая, что предпочитает... Линда перед картиной, Линда в другом конце комнаты спиной к нему, с водопадом золотистых волос, как у Алисы в Стране чудес, слишком много разных голосов вокруг, если позвать — она не услышит, а выпустить из рук стол никак нельзя. И она беседует с мужчиной, упавшим в кресло, мужчина в кресле, мужчина в кресле, какие огромные цифры, мужчина в кресле усаживает Линду на колени, Линду и Генри, стоя перед зеркалом у себя в спальне, он ощутил себя свободным, даже начал слегка приплясывать, как Генри и Линда, усаживает Линду на колени, обнимает, придерживая голову ладонью, от страха она не может пошевелиться, даже язык прилип к нёбу, да и кто услышит ее в гуле всех этих голосов? расстегивает свободной рукой рубашку — мужчина в кресле, голоса нарастают, нестройный хор, никто ничего не видит, мужчина в кресле прижимает ее лицо к груди, не выпускает, Генри думает: кто будет отвечать? он попробовал отпустить край стола, но осторожно и очень медленно, чтобы вино не взметнулось вверх из желудка, и начал продираться к ним сквозь гущу набившихся в комнату людей.

Примечания

Джеймс Хингон (1822–1875) — знаменитый ушной хирург, автор многочисленных работ по медицине и социально — нравственным проблемам своего времени (Зд. и далее прим. перев.).

Томас Мальтус (1766–1834) — английский священник и ученый, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.

«Рыбий пузырь» (лат) — фигура сакральной геометрии, которая получается при пересечении двух кругов одинакового радиуса, когда центр каждого круга лежит на окружности другого.

4

Одна из крупных лондонских улиц.

Графство, в котором находится город Мелтон-Моубрей.

Поэма Уильяма Вордсворта (1770–1850), написанная белым стихом.

Изобретенный в начале прошлого века аппарат искусственной вентиляции легких, представлявший собой тяжелый железный ящик со стеклянной колбой наверху. Больного вдвигали внутрь и закрывали как в скафандре.

Настоящее имя знаменитого боксера Мохаммеда Али

Малолитражка британской автомобильной компании «Моррис», впервые выпущена в 1948 г.

Джон Эверетт Милле (1829–1896) — английский художник-прерафаэлит, ставший в зрелые годы популярным автором сентиментальных жанровых сценок. Фамилию его (Millais), произносящуюся на французский манер, по-русски часто пишут как Миллес.

Многие церкви в Англии в старину крыли свинцовыми крышами. С ростом цены на свинец в начале — середине XX в. так называемые «кражи крыш» приобрели характер эпидемии.

Хэвлок Эллис (1859–1939) — английский психолог и писатель, автор работ о сексуальных извращениях. Генри Миллер (1891–1980) — американский писатель, автор скандальных для своего времени интеллектуально-эротических романов о времени после Первой мировой войны («Тропик рака» и др.)

Флоренс Найтингейл (1820–1910) — сестра милосердия и общественный деятель Великобритании, прославилась во время Крымской войны. В 1912 г. Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль ее имени — до сих пор самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире.

Шут из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».

Последняя, двадцать вторая буква еврейского алфавита.

Солнце (лат.).

Классическое английское блюдо «toad-in-the-hole» — сосиски, запеченные в йоркширском пудинге.

Начало второй строфы колыбельной «Summertime» («Летний день») Джорджа и Айры Гершвинов из оперы «Порги и Бесс». Перевод Дмитрия Коваленина.

Имеется в виду герой романа Филиппа Рота «Случай Портного» (1969), отличавшийся склонностью к необычным любовным похождениям.

Район на севере Лондона.

Костюм героя книги «Маленький лора Фаунтлерой» (1886) Фрэнсис Ходжсон Бернетт был так тщательно описан автором, что вошел в моду под таким названием. Обычно черный вельветовый костюм с накладным кружевным воротником и отложными манжетами.

Уильям Генри Пратт (1887–1969), известный как Борис Карлофф, прославился в роли Чудовища в фильме Джеймса Уэйла «Франкенштейн» (1931).

Популярнейшая детская песня, известна по-французски с XVIII в., по-английски, как «Brother James», — с XIX.

Сэмюэль Джонсон (1709–1784) — знаменитый критик, поэт и лексикограф, составитель словаря английского языка.